

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Оглавление

Глава первая ОТ АННЫ.....	2
Глава вторая ОТ АВТОРА.....	9
Глава третья. ОТ АННЫ.....	15
Глава четвертая ОТ АННЫ	17
Глава пятая ОТ АННЫ.....	23
Глава шестая ОТ АННЫ.....	31
Глава седьмая ОТ АННЫ	36
Глава восьмая ОТ АННЫ	36
Глава девятая ОТ АННЫ	38
Глава десятая ОТ АСИ.....	45
Глава одиннадцатая ОТ АННЫ	49
Глава двенадцатая ОТ АННЫ	54
Глава тринадцатая ОТ АННЫ.....	58
Глава четырнадцатая ОТ БОРИСА.....	69
Глава пятнадцатая ОТ АННЫ	74
Глава шестнадцатая ОТ АННЫ	80
Глава семнадцатая ОТ ЛЕНЫ ЛИПОВЕЦКОЙ.....	89
Глава восемнадцатая ОТ АНДРЕЯ	90
Глава девятнадцатая ОТ АННЫ	97
Глава двадцатая ОТ АНДРЕЯ	113
Глава двадцать первая ОТ АННЫ	126
Глава двадцать вторая ОТ АНДРЕЯ.....	135
Глава двадцать третья ОТ АНДРЕЯ	144
Глава двадцать четвертая ОТ ЛЕНЫ ЛИПОВЕЦКОЙ	152
Глава двадцать пятая ОТ АНДРЕЯ.....	158
Глава двадцать шестая ОТ АННЫ.....	165
Глава двадцать седьмая ОТ АНДРЕЯ.....	171
Глава двадцать восьмая ОТ АВТОРА	176
Глава двадцать девятая ОТ АВТОРА	184
Глава тридцатая ОТ АНДРЕЯ.....	195

Глава первая

ОТ АННЫ

Дверь распахнуло сквозняком, и пока я пыталась догнать и собрать разлетающиеся со стола бумаги, я вдруг поняла, что такой сквозняк уже был. И был со мной. И квитанции из химчистки так же рвало из рук, комната от ветра вытягивалась в длину, такой же яростный поток наэлектризованного воздуха метался от стены к стене, к потолку, и все, до чего он дотрагивался на своем пути, зажигалось голубым и синим, потрескивало от разрядов и гудело. Я вспомнила ясно, как меня развернуло лицом к шквалу, в последний раз обожгло лицо, ладони, грудь подмороженными снежинками и исчезло.

Буйство кончилось. Деревянный пол перестал петь и замолчал. И бури во мне на много лет стихли. Забываю себя. Хочется курить. Я закурила из любопытства, но эффект был неожиданным: это вызвало такое проявление окружающего мира и себя, такую четкость и легкость, что отказаться стало невозможным. Мне понадобились "тени" и губная помада. Зябну во сне. И кожа перестала отторгать колготки. Мне даже нравится элегантность своей ноги в тонком дедероне. Бездушная фикция. Голос сохнет. Покрываюсь броней. Но во мне остались слои, на которых еще можно отыскать крохи любви. Лучше туда не погружаться. Начинается уныние и темная тоска. И уходят все силы. А силы нужны на жизнь. Со своими раздвоениями я стараюсь бороться, и тема эта скучная. Про мои раздвоения соглашается слушать только мама, которой я стараюсь ничего не рассказывать, и мужчины, имеющие на меня определенные виды. Я вообще заметила, что большинство людей, в основном, интересуется кровавыми ужасами и сексом. Почему-то всех моих знакомых радует история о том, как сумасшедший изобретатель в приемной Академии наук отрезал голову секретарю Келдыша и, дико

озираясь, кричал, что так будет со всеми, кто встанет на его пути, и скандал в Институте экспериментальной медицины, где освободилось место зав. лабораторией и старший научный сотрудник убил своего соперника, расчленил и сварил в эмалированном ведре с надписью "3-й этаж". Все любят слушать, как невеста художника Игоря Чернецкого заразила его гонореей за три дня до свадьбы, но Игорь относился к женщинам очень отстранено и все равно на ней женился, потому что ей обещал. Пока в доме у Чернецких кипели страсти, его избранница - худенький бесцветный мышонок из Калинина - объясняла будущей свекрови, что она "с мальчиками баловалась и через штанишки заразилась", а надменная полька Ванесса Теофиловна Чернецкая не нашлась, что ответить на эти непристойные подробности, и, поджав губы, величественно удалилась. Мужчины, оставшись в нашем доме в одиночестве, с жадным любопытством листают учебники гинекологии, и вопрос, сколько крови женщина теряет в месячные, интересуется их больше, чем даже подпольные антисоветские издания. Мне самой в четырнадцать лет, после того, как меня взяли на итальянский фильм "Ночи Кабирии", снилось, что я стала профессиональной проституткой и толстые дядьки с сизыми павианьими носами доводили меня до дерматиновых дверей своих квартир, откуда я, страшно стесняясь, сбегала.

Но в обычной жизни люди убивают друг друга редко, и люди, которые умерли по моей вине, не приходят ко мне во сне. А последняя женщина, смерть которой я, видимо, ускорила, притащила мне за неделю до этого связку тараньки, и скорее этот факт всплывает у меня в памяти. И не каждый день знакомых художников заражают невесты. Никто никого не варит. А у меня перестало обмирать сердце, когда мужчины за моей спиной напряженно запирают дверь на ключ, и даже плечо перестало что бы то ни было чувствовать, когда с него

скатывают бретельку. Каждый час уносит частичку бытия. Когда я по утрам осматриваю себя в зеркале, то это не вызывает у меня ни гордости, ни интереса. И я избегаю любых беспокоящих меня мыслей - и про любовь, и про смерть. Избегаю и боюсь их. И с отвращением отношусь к разговорам, особенно - к телефонным. Но в то утро мы проснулись именно от телефонного звонка. Вернее, я поняла, что Алешкина рука ищет на ковре телефон, и мысленно въехала вместе с ним в столбик пепла, который... Да, мы опять вчера поздно легли.

- Але. Я вас слушаю.

Алешка нашел трубку, но я понимала, что он преувеличивает: он еще не проснулся.

- Але. Я вас слушаю!

Сейчас он напряженно продирает глаз и выясняет, той ли стороной он ее держит. Голос его прозвучал поживее.

- Ничего не слышно, перезвоните, - Алешка зевнул.

Нужно было мне самой поднять трубку: наверное, это Нестеров. Я уже три дня жду его звонка, но ясно, что заговаривать с Алешкой Нестеров себя не заставит. Короткие гудки. Если сейчас не перезвонят, я снова усну. Я еще не просыпалась. Тонкая корочка осеннего льда отделяет меня от яви. И на этот раз я ускользну не узнанной. В полжизни назад. В полусон с цветными видениями. Я от всего защищена: телефон молчит, а подсознание копается в аналогиях и, где-то за синей лампой карантина по "свинке", услужливо подает мне сердитого отца. Он уже в форме, и в его четкий утренний график: семь - бритье, семь десять - завтрак, в семь тридцать из машины сигналил матрос с рыжими гвардейскими ленточками - в его четкий утренний график врывается нелепый звонок. Их знакомые так рано не звонят! Я еще без школьного передника, и меня срывает с места ужас! Я должна первой успеть к телефону! И я лечу в шлепанцах "на босу", а отец все равно сердится. Он мрачно ругает неизвестных

хулиганов, но я все вчера видела: Сережа Космачев держал дверь, а еще кто-то, тот, кто сидит у окна на изрезанной третьей парте, смотрит классный журнал, который наша "учила" забыла на своем столе. Мы проходим со Светкой Мезенцевой по коридору и не смотрим: ну вот как можно не посмотреть - так мы не смотрим, но я знаю, что на последней странице журнала они ищут мой телефон. Шестой класс. Я освобождена от физкультуры. Слава тебе, Господи! Ненавижу, когда девчонки осматривают меня в раздевалке. Цветные сны! Занудный фон уроков и то, из чего в действительности состоит школьная жизнь - соперничество с девчонками и "переглядывания" с мальчиками. Я хочу тут плавать. Не будите меня отсюда! Наш класс в зеленых маечках. Нас трое в классе, и мальчишки сдувают с меня алгебру. А утром они станут бесить папу своими звонками. Я разрешаю себе уплыть еще глубже. Там идет жизнь. Там страшно столкнуться лицом с мамой: она может заметить, что подкрашены глаза, что я всю ночь спала на ее бигудях и на мне туфли, которые разрешено надевать только на Первое мая. Мне еще предстоит прокрасться под самым маминым окном и только за углом торжественно, с видом победительницы, распрямиться. Боже, как светло жить назад. У меня одно утро в неделю, когда я могу спать и не просыпаться: в субботу обход отделения, а сегодня мне снятся зеленые маечки. Я чуть отталкиваюсь от земли пятками, меня снова кружит. И еще можно спать и спать.

Тут я почувствовала жесткую Алешкину руку на бедре. Нет, нет! Вы ошиблись. Меня по ошибке будят в прокуренной комнате рядом с возбужденным мужчиной. И разве мне столько лет?! Я точно помню, как вчера мне исполнилось десять. В крайнем случае семь. Или двенадцать. Ко мне еще нельзя иметь сексуальных претензий, а меня будят во взрослой женщине, у которой на бедре чужая рука, и нужно

быть последней шлюхой, чтобы тяжесть этой руки с себя не сбросить, а я не последняя шлюха, и кожа дыбом, но руку я покорно терплю. И никто не смеет касаться моих губ, но мне их опять не защитить. Я еще сплю, а чужой язык, как муха, которую уже нет сил отгонять, а можно только вздрагивать во сне коленкой, как назойливая пытка - моих губ касается чужой язык. А сейчас я начинаю чувствовать запах: это чужой запах, никто из моих знакомых так не пахнет. Если это муж, то почему у него такой чужой запах. Но все в порядке: муж - значит муж. Значит, можно не просыпаться. А чужая рука сжимается на бедре, утверждая свою власть.

Как-то он чувствует, что я неглубоко сплю. Уже начало светать, и на Кировную свернул восемнадцатый трамвай, отвратительно лязгнув бронированными вагонами. Почему так гадко, когда по утрам до тебя дотрагиваются? Я дозирую мутность взгляда и шепчу: "Ах, перестань, я еще сплю".

Кому все это нужно? Почему нельзя просто лежать рядом? Мы два года вместе, а коже не привыкнуть. Каждый раз позорный страх, что тебя сейчас осквернит чужой мужчина. И голос. По утрам. Только первую секунду, но каждый раз по утрам, когда я слышу его голос, у меня начинается паника. Плохо. Скучно. Признаться ему в этом я не могу. Он прекрасный человек, и мне абсолютно не хочется его обижать. Если замереть, думать о ком-нибудь другом и совсем совсем не отвлекаться, то взлет может произойти сам. Когда милый уже спит, я часами простаиваю под горячим душем. Я не ложусь, пока не появляется точная уверенность, что я сразу же засну. Половину ночей у нас горят окна. Безнадежно и тускло. Мне не трудно лечь с ним в постель, но меня раздражает, что я еще должна ему подыгрывать и изображать неземное блаженство. Он хочет видеть, как я с ним бесконечно счастлива. Иначе он очень расстраивается и начинает наказывать меня своими душевными переживаниями. Но

изображать из себя неземное блаженство, закусывать кончик ватного одеяла или плакать крупными слезами я не хочу. И счастье давно кончилось. Аминь!

Нужно вставать и начинать этот отвратительный день. Я в капкане всеми лапами. И каждый день увязаю глубже и глубже. Заснуть бы, чтобы никогда больше не просыпаться. Лежит вот Ленин в мавзолее, и ничего его не мучает.

- Подожди, я схожу в ванную.

Раздражение в голосе целиком относится к себе. Это у них называется "утренним сексом". Я сплю. Я не хочу просыпаться и видеть этот мир. Я не хочу ни изгибаться, ни шипеть, ни мурлыкать. Я не хочу, чтобы мною пользовались. Список моих "хочу" обычно значительно короче: сегодня там стоял всего один пункт - добраться до ночи целехонькой, чтобы меня не выводили на "чистую воду", или уж порвать со всеми к черту и начать новую жизнь со спокойной, чистой совестью.

Я осторожно притворила за собой дверь, но в ванной уже во всю хлестал душ. Это встала моя одиннадцатилетняя дочь. Зачем она встала в такую рань - это никому неизвестно. Очень Алешка меня вовремя взбудоражил. Хорошенькое утро! Просыпаешься в совершенно нормальном состоянии и через десять минут уже выжата, как лимон. Какой-то кретин путает номер. Алешка начинает свою идиотскую возню, и Дарья в шесть утра вдруг надумала помыться. Меня поколачивает. Я еще полностью себя контролирую, но критика становится слабее.

- Даша, я даю тебе еще три минуты!

- Мам, ну вечно ты, я только вошла.

- Я же тебя, кажется, не гоню. Я даю тебе еще три минуты. У меня масса дел!

От своих слов меня физически тошнит. У меня, разумеется, не может быть никаких дел в такую рань в воскресенье. Но это

ее, паршивки, не касается. Нужно слышать ее наглый тон! Она меня специально дразнит! Она со мной так разговаривает, что я теряю человеческий облик! И уж, во всяком случае, я не должна давать ей отчет, за кем я замужем. Меня уже несет. Я срываю с вешалки дремлющий плащ, подхватываю что-то на ноги и отправляюсь прогуляться.

Глава вторая

ОТ АВТОРА

В шесть часов одиннадцать минут этого же дня на побережье Средиземного моря, за Акко, к ливанской границе подъехал выцветший джип с неровным военным номером. За рулем сидел смуглый юноша-водитель, а рядом с ним офицер в легкой гимнастерке с тремя шпалами на плечах. На подъеме к контрольному пункту они пропустили встречный ряд автобусов с отпускниками, а потом, резко вильнув влево, проехали границу насквозь, не останавливаясь. Начинало припекать. Капитан покусывал рыжеватый ус и протирал лысеющий лоб выгоревшей форменной шапочкой. Практически никакой границы и не было: три солдата-милуимщика в неаккуратно сбившихся гимнастерках проверяли документы, а четвертый, постарше, дремал на деревянном стуле. Лицо его показалось капитану знакомым, кажется, он работал в каком-то тель-авивском банке.

За границей земля легла мертвой. Ни души. Угрюмо и пусто. Через три километра они заметили мрачного черного козла, пасшегося на заросшем люке. В преисподнюю. Перед джипом шло четырнадцать грузовиков ООН. Ребята в ультрамариновых беретах, в два ряда, прижавшись друг к другу спинами, совершали патрульный рейд по буферному коридору. Напряженное патрулирование не отменяли, но стеречь было нечего: фронт давно переместился на сто верст к северу. Они обгоняли грузовики по одному, пережидая внутри колонны встречный транспорт. Ооновцы блокировали дорогу и старались не пропустить джип вперед, но их положение в пограничном районе было нелепым, и раздражения они не вызывали. Скорее - профессиональное сочувствие. Над самым берегом, заваленным обломками скал, окруженным цепкими кустами, низко пролетели два израильских транспортных вертолета. Пошли рябые, длинные железобетонные заборы, густо политые танковыми пулеметами. Незадетых участков не было, но сквозных отверстий было мало: пять дюймов толщины. Каждые сто метров тяжелые железобетонные секции были сдвинуты танками, как калитки. В проемы неприветливо смотрели запущенные апельсиновые сады с низкой кроной, царапающей землю: простреливались только узкие дорожки, глубоко

деформированные гусеницами. Шоссе было измятым - большие выбоины наспех заляпаны - день и ночь работали дорожные укладчики, но по краям асфальт до сих пор был разодран в клочья и обгрызан. За Аазивой, на узком участке дороги, спустило колесо. Пока водитель ковырялся под машиной, капитан бросил на шоссе складной предупредительный знак и коротким стволом своего "галиля" отгонял подальше от джипа идущие на север машины. Мимо них удовлетворенно проехали грузовики Юнайтед Нейшенз, колесо в колесо, почти наезжая капитану на ранты ботинок. На голубом фоне развевался ооновский череп со скрещенными костями. На работу неслись клетки грузовых фургонов, облепленные сельскохозяйственными рабочими, и тощие легкие мотоциклы, тащившие по два седока. В Стране, в которой капитан родился, такие мотоциклы раньше назывались "макаками". У сидевших сзади ноги свешивались и трепетали в воздухе. Ливанские машины торопливо шарахались в сторону и объезжали капитана, только мотоциклисты выглядели по-разбойничьи, непокоренные кавказские абреки, в зубах ятаган. Зеленый цвет исчез, все было покрыто густым слоем серой пыли: сады, широкие стены, дети, даже стаи сорок. Пошатывались пыльные финиковые пальмы. Много суток тут непрерывно шли танки. Эта толстая танковая пыль пролежит теперь тут до дождей. Капитан поглядывал по сторонам: из садов постреливали по военным машинам, и прочесывать заросшие сады было очень сложно.

Они поменялись, капитан сел за руль, а молодой водитель, сначала задрав солдатские ботинки на ветровое стекло, устроился рядом, а потом перебросил свой автомат на заднее сиденье и перевалился туда сам. Дорога вернулась к берегу. На сохранившихся домах сушилось белье. Временами попадались короткие останки железнодорожного полотна. Капитан знал, что железной дороги здесь нет уже тридцать лет, но в общей вверх дном разрухе трудно было отличить повреждения последних двух месяцев от вековых и годичных..

В Цоре они стали искать автомастерские. Патруль друзей послал их к лагерю палестинцев в километре от наполеоновской насыпи. Стояло несколько корявых неповреждённых сараюшек, обвешенных заклеенными шинами. У входа торговались пятеро небритых палестинцев в соломенных и примятых джинсовых шляпах. Не переставая переругиваться, они взялись клеить шину, а потом помогли

прикрутить ее ремнями на место. Вокруг мастерских было месиво покрышек, камня, стекла, молочных пакетов, семечек, рыбьих хвостов и давленных американских жестянок. Нью-йоркская свалка. Развязный мальчишка лет тринадцати, продававший американские сигареты, пытался всучить им блок "Кента". Капитан отвернулся, придерживая автомат на всякий случай ногой, но наглый мальчишка лез со своими разговорами прямо в кабину. Он тыкал рукой в обломки и на ломаном английском языке рассказывал, что здесь был их дом. В обломках целеустремленно, по-взрослому, играло несколько грязных детишек. Играть было чем. Отец и два старших брата собирали апельсины в саду, рассказывал мальчишка, и их схватили как бандитов. "Но террорист, вай ин призон?" Мальчишка был большим демагогом. У мастерской стоял новенький сверкающий трактор "Массей Фергюссон". Провезли на тачке высокую батарею булок с тмином. Капитан заметил, что мальчик подмигивает друзьям, стоящим у лотка с сигаретами. Капитан узнал это подмигивание: потом мальчишка станет похвастаться друзьям, что наговорил с три короба важному израильскому капитану. Но палестинский мальчик ошибался: израильский капитан тоже был мальчиком, ни за что не отвечал и на вопросы ответить не мог. И думал про себя, что и никто на свете ни за что отвечать не может.

После разговора с мальчиком день стал ребячливее. Капитан понял, что он не в чужой стране. Или не более чужой, чем Израиль, за который он служил. Капитан стал узнавать знакомые вещи. Навстречу один за одним проезжали патрульные джипы с тремя тугими антеннами - антенны на джипах оказались длинными удочками, а рыжему сержанту нравилось свешивать ноги и дуло автомата за борт, и капитан ему позавидовал. Он обернулся на своего водителя, но тот, к счастью, ничего не понял. Водитель был приветливым и исполнительным сефардом, но капитану он был менее понятен. Может быть, у азиатов другой жизненный цикл и они раньше взрослеют. Они проехали мимо небольшого пруда, в котором лежал перевернутый мерседес, а около него стоял бронетранспортер и две легковые машины с ливанцами. Солдаты купались, а ливанцы входили в воду немного поодаль. Девушка стояла по колени в воде, подоткнув юбку, совсем как Вовкина мать, но это было очень давно. Не исключено, что солдаты тоже были ливанцами, с дороги было не разобрать - форма

одинаковая. У ливанцев должен быть кедр на эмблеме, настоящий ливанский кедр, который еще назывался сибирской сосной. Капитан читал, что ливанцы не были настоящими арабами, в них текла кровь финикийцев. Военные финикийцы были молодыми мужчинами, украшенными на поясах роскошной кобурой пистолетов. В израильской армии пистолеты были отменены. Военные финикийцы казались перекормленные гражданского населения. И более с усами. Но они тоже были детьми. По берегу длинного оросительного канала бегали мальчишки с мокрыми волосами, и, видя мокрые волосы, капитан вздохнул. В совершенно безлюдном участке дороги выбритый до пронзительной синевы лысый дядька торговал одеколоном. Очень хотелось пить. Снова пошли дома, густо политые пулями. И небольшие дворцы под телевизионными мачтами, крикнувшие крупными трещинами. За камышом и недлинным базарчиком блеснуло море. Удрученный торговец на базарчике был в полосатой пижаме командировочного - в детстве у капитана тоже была такая пижама. Помойки, свалки, автомобильные свалки не резали глаз и были неразличимы в пейзаже. Навстречу ехало много машин со скарбом - то ли возвращение, то ли бегство?

Водитель на заднем сидении уснул, а капитан остановил джип около уличного разносчика и купил на ливанские деньги две банки канадской шипучки. Одну банку он подставил к автомату своего спящего солдата. Лимонад был острым и очень холодным, но жажды он не снимал.

Все факты были невероятно интересными: дядька в пижаме, шипучий лимонад, но ни в какие закономерности они почему-то не выстраивались. Неожиданно попался неповрежденный городок. Капитан поискал свободной рукой под сидением карту. По дороге шла высокая блондинка, и это его отвлекло. Еще через восемьсот метров стоял осевший дом с прислоненной на время к стене крышей, а около него, положив голову на лапы, дремала овчарка. На склонах перед Сидоном блестели громадные нефтяные баки, их на этом участке брали морским десантом. Стекла вывеска на английском языке была аккуратно прострелена в гласных. Капитан входил в Ливан на восточном участке, в Друзии, и поэтому ему все было интересно. И нравилось быть капитаном, играть в мальчика, и его игра никому не причиняла вреда, потому что в мире было еще много других

капитанов, которые в мальчиков не играют.

У въезда в Сидон стоял пятиэтажный дом, серединки у которого не было, на сохранившихся балконах парусили простыни на веревках, а под домом, на стеллажах из развалин, вальяжно расположился торговец обувью. Победа. "Ведь это победа!" - сказал он нечаянно вслух. Водитель заворочался и проснулся. Прополоскал рот лимонадом, и они стали изредка перебрасываться односложными фразами.

Над городом возвышались "рубки океанских лайнеров" - уцелевшие пирамидальные многоэтажки. Сожженные советские зенитки канцелярскими скрепками торчали изо всех канав. Война окончилась.

В батарее у капитана было всего двое раненых. По военной теории партизанские войны на чужой территории регулярная армия всегда проигрывает. А здесь была победа.

Настолько полная и безоговорочная, что капитану чудился подвох и ловушка. Это вызывало у него сильную тревогу, и настроение у него становилось то лучше того, что он видел вокруг, то хуже, а то и вровень.

Проехали разбитый Дамур, свалки, свалки, баклажаны, стекла, колеса, половинки автобусов, пушистый кот на поленнице, изрешеченные дома, этажи, скрученные в косичку, запах гари, хищные военные грузовики с обрубленными мордами.

Из встречной машины выбросили какой-то предмет, и капитан мгновенно затормозил и пригнулся. Банка "Севен-ап". Капитан поехал дальше.

Ничто не напоминало курортную страну. Маленькие дети играли у самых обочин. Пустовало полгорода. Одинокое чертово колесо. Парк культуры. И отдыха. Теперь до моря было метров тридцать. Оно равнодушно плескалось и дурманяще пахло.

Сразу за Дамуром они увидели Бейрут, Рио-де-Жанейро Средиземного моря. Вдоль дорог - черные "Зилы". "Газики", сдвинутые в кювет. За несколько километров до города они свернули направо и на второй скорости потащились в гору, к лежавшему над Бейрутом плато. Дорога была заставлена израильскими танками "Меркава", эдакие грустные муравьеды, со свешенными носами. Их батарея стояла последней в ряду, и они проехали мимо соседей, завтракавших под маскировочными сетками, мимо валяющихся башен

советских танков, горелых "Катюш".

Сегодня их часть переводили к шоссе Бейрут-Дамаск. Шли последние сборы. Солдаты вяло ходили по лагерю, волоча за собой автоматы. Половина солдат была похожа на очкастых математиков. Батарея находилась прямо над Бейрутским аэродромом. Капитан прищурил глаз, и посадочная полоса стала перевернутой слаломной лыжей. Пара забытых самолетов.

Вокруг были колючие склоны, которые свистели, дышали, жили, трещали и шелкали. Надрывались пересохшими кузнечиками. Будто и не было войны. А война была. Погибали люди. И это было плохо. А у капитана в прошлом году умерла двухлетняя дочь. Но он и сам чувствовал, что много раз умирал раньше, и от этого сразу становилось легче.

Один раз он тоже умер маленьким.

Капитан выслушал рапорт своих заместителей и сообщил командиру части, что он вернулся. Потом он прошел к своей палатке, выпил там кофе из пластикового стакана и еще напоследок постоял с сигаретой и послушал, как Бейрут просыпается и стряхивает с себя серые остатки утра. Иногда, как полотнище на ветру, доносилась пулеметная стрельба. По ночам она поднималась над морем серебряными столбами. В море и в небо улетали советские снаряды. Снаряды тоже были знакомыми. Над их созданием в Ленинграде работал родной отец капитана, и в кабинете у него стояли две пепельницы, сделанные из вороненых гильз.

Через час батарея снялась с места и осторожно соскользнула вниз к шоссе. Они замыкали вытянувшуюся змеей колонну самоходных орудий, и капитан снова немного поиграл в мальчика. Змея отвернулась от Бейрута, вытянула по шоссе свои кольца и, отплевываясь гарью и подрагивая, вползла в сырое ущелье, ведущее на восток и наверх. Там капитана отвлекли, в грохоте вездеходов было трудно сосредоточиться, капитан устал. И целый день он играть забыл.

Глава третья.

ОТ АННЫ

Есть люди, которые помнят только хорошее. Или только плохое. Или помнят, как хотят запомнить. А я вообще ничего запоминать не хочу, но я ничего не могу забыть, у меня не получается.

В течение последней недели вокруг меня разворачивалась детективная драма с постелью, к которой я с интересом присматривалась, пока не оказалось, что по действию меня прочтат в главные героини. И они мне так этим заморочили голову, что я совершенно перестала себя слышать, а потом уже было поздно что-нибудь исправлять или менять. Я смотрю эти два дня, как видеозапись проигранного матча: вот сейчас кто-то потеряет мяч, ошибется защитник, вратарь уже далеко вышел... И снова в записи: кто-то теряет мяч, ошибается защитник, а вратарь уже непростительно далеко...

Я хлопнула входной дверью и отсчитала восемьдесят две мраморные ступени с медными петлями от дореволюционных ковров. На этих ступенях я родилась и сюда хочу возвращаться старухой. Мы живем на третьем, и мраморных, собственно, вдвое меньше. И ковры выше второго этажа тоже не выстилали, и сам этот дореволюционный размах к третьему этажу как-то иссякал, что отчасти объясняло мне причины гражданских смут. И на этих суживающихся к чердаку "ступенях народного гнева" я себе представляла предметно ленинское выражение, что низы не хотят, а верхи не могут. И мимо чугунных столбиков в подъезде, помнящих фонари, мимо широченных подоконников, помнящих поцелуи, мимо закладки под трубой, где у меня, а потом у Дашки хранились мел и коробочка из-под гуталина для игры в классики, я выбежала на Кировную. Мало кто помнит значение этого слова, и улица давно переименована в честь непереиздающегося Салтыкова-Щедрина. СТОП. Здесь по спине скользнул холодок, с которого начинается моя видеозапись. И я кручу ее раз за разом: спиной, затылком я почувствовала давление чьих-то глаз. Но тогда я, отмахнувшись, пробежала мимо кинотеатра "Спартак", обосновавшегося в голубенькой церквушке, где на афише Леонов застенчиво комкал кепку, и пошла по Петра Лаврова, которую по каким-то внутренним законам никто не называет Фурштадской, хотя высокообразованный идеолог народничества был по всем статьям сомнительнее Салтыкова-Щедрина. По этому пути я десять лет топала в английскую школу, хоть было две обычных, значительно ближе, но родители решили, что мне полезнее проветриваться до английской, что заодно свело к минимуму их общение с моими школьными учителями, к чему у них было стойкое отвращение. Вызвать их на родительское собрание мне удалось за все годы только дважды. Каждый метр этого пути: мимо американского консульства, со слоняющимся заспанным милиционером, мимо пункта приема посуды, где только в это время дня не было очереди, каждый метр дальше был

насыщен кусками и обломками разговоров и объяснений, шепотом и обидами, и стотысячный раз у меня застрял каблук в решетке над подвальным окошком, где на серой вате между стеклами треснутый целлулоидный пупс и кисточка сморщенной рябины вызывали у меня желание тоскливо быть. Но я не могла не пройти по ней, так как я ходила в десятом и в первом, над этим сирым колодцем, выстланным заплеванными окурками. Я посмотрела, как под окнами роддома дежурят взъерошенные отцы, передавая что-то знаками в закупоренные окна, и проводила взглядом фургон, выезжающий из ворот хлебозавода, а запах его доносился до нашего школьного двора. Я провела по нему глазами и, встревоженная, пошла дальше, до самых ворот Таврического сада, подбирая по дороге желуди в сморщенных шапочках, которые Дашка уже давно перестала собирать, но я не могла удержаться и приносила ей осенью небольшие горстки, а потом еще долго наталкивалась на желуди в глубоких карманах старых курток и за подкладками пальто, вместе со случайными копеечками. Кроме ранних собачников, в парке никого не было, но это ощущение, что за мной наблюдают, постепенно усиливалось, напоминая один из моих повторяющихся цветных снов, что я лечу, крохотная, в объективе какого-то гигантского, причудливо раскрашенного глаза.

Вдоль моих любимых деревянных скамеек под ногами чмокали темные листья. Я шла и ежилась. Холодок в спине не проходил или снова появлялся, если мне удавалось на минутку отвлечься. Этот же холод резанул меня, когда я беспричинно и беспечно счастливая бежала утром в понедельник в больницу, но на углу Литейного, около Дома офицеров, я остановилась - взгляд в спину ворожеи - и резко обернулась. Сзади меня под ранцами косолапо бежали две школьницы, и дворничиха прижимала к дородной груди совок, похожий на этрусский щит, и растрепанные метлы.

Я вздрогнула. На мгновение мне стало жутко, но это не испортило моего настроения последней недели перед отпуском, афишная тумба была оклеена медными ряшками гастролирующего военного ансамбля города Чебоксары и Людмилой Зыкиной. Было холодно и солнечно. Кончилась летняя липкость воздуха. Мы вышли из дома вместе с Дашкой и, хоть мы еще не помирились, но, не сговариваясь, стукнулись сумочкой о портфель и, кружась, разлетелись в разные стороны. А через несколько минут я поднялась по больничной лестнице, превращаясь на ходу в Анну Васильевну, разодрала крахмал халата и рассеянно пошла к операционному блоку, здороваясь по пути со своими больными, чтобы потом в перерыв после первой операции выйти к городскому телефону и провести этот обреченный разговор. От раза к разу эти два дня уплотняются, и под шорох листьев Таврического сада я повторяю с бравадой самоубийцы все фразы его сценария.

У него могло и не быть определенного плана, а просто хотелось послушать мой голос. Непонятно и неизвестно. И я мысленно шуршу листьями и каждые сорок секунд оборачиваюсь, как контуженный летчик-истребитель. Ведь я с первой секунды, с застрявшего в решетке каблука, могла вычислить, что со мной

происходит. Но я не сделала усилия, без которого прошлое катится на поводу у предопределенности, и мы расплачиваемся за него неминуемым настоящим. А пока шло воскресенье... Алешка и моя дочь что-то молча жевали на кухне, и я им объявила свою волю - завести для утренних прогулок спаниеля.

Глава четвертая ОТ АННЫ

Злосчастное воскресенье входило в силу. Над нами нависла очередная осень, и у людей, с которыми я дружу, происходили разные события. Люська Малкова сделала неудачный аборт и лежала с пельвеоперитонитом, у Липовецких была пятнадцатая годовщина свадьбы. Кит Нестеров находился под следствием, а Кожевников собирался разводиться с женой, пил и изрядно ее поколачивал. Но при этом мы уже две недели были заняты предотпускными туристическими сборами, и сегодня вместе с Васькой Шахматовым мне еще предстояло покупать консервы, а Алешка уезжал на машине на дачу за палатками. За Алешкой должен был заехать Саня Ланской, "честный Саня", прозванный так за умение говорить в лицо всякие гадости, породистый кобель с мощными кривыми ногами.

Бебебех! Хлопнула входная дверь. Алешка вошел на кухню, держа в руках кусок штукатурки. "Покажи ей, когда она вернется, а мне не нужно сюда таскать штукатурку!" Как они меня оба раздражают! Приперся на кухню с куском штукатурки. Я отдыхаю дома, когда их обоих нет. Сейчас Алешка уедет, и у меня будет полчаса личной жизни. Я ненавижу воскресенье, когда они оба дома, ничего не делают и беспрерывно просят есть. Я бы уезжала куда-нибудь на воскресенье, но ни у одного человека, с которым я в состоянии пробыть вместе день, нет машины. Да и вообще, во всей компании машина есть только одна, задрипанный "Запорожец" Ланского, который он называет "корветом любви". У Сани

очень громкий голос. После заключения - Саня отсидел полгода за уклонение от военной службы - он уже шесть лет непрерывно ругается. На "большевиков", "меньшевиков" - мне сразу хочется тихонечко выйти из машины и никогда больше этого не слышать. Вон уже гудит.

- Алешка, иди открывай, у меня руки мокрые. И уезжайте сразу, не держи его здесь.

Саня ввалился с грохотом. На голове он нес маленький банный чемоданчик. - Салют!

- Мадам, я у вас на службе!

Саня имеет у нас репутацию штатного Казановы, в основном, он сам себя рекламирует, но наши голубчики склонны все принимать за чистую монету и втайне ему завидуют. Цепкий, стервец. Когда-то давно, когда Саня только появился в Ленинграде, Милка Кошкина, наша хорошая знакомая, притащила его к себе домой "пожить". У нее очень приличные "итээры" родители, отец - кандидат наук, а она девочка центровая - такая козочка с острыми коленками. Часов до четырех она спала, потом еще пару часов подкрашивалась, взгляд у нее постепенно оживал, и она утаскивалась в какой-нибудь кабак. Недели через три она от своего романа с Саней очень устала и просто-напросто из дома сбежало. Приходила время от времени попить с родителями чай. А Саня остался и еще полтора года прожил. Милкина мама жарила ему по целой сковородке котлет, а папа нервничал, орал на жену, но тоже терпел.

Про себя Ланской рассказывает, что в детстве он бегал по Подолу музыкальным еврейским мальчиком и систематически получал по "морде" от соседских "хлопцев". Это происходило, когда ему было лет двенадцать, но уже из университета Ланской специально ездил в Киев с кем-то рассчитывать. "Ничто не должно остаться безнаказанным!" - это резонное замечание Саня подкрепляет пятьдесят четвертым размером

плеч. Звучит очень убедительно: я всегда представляю, что Санины враги остались двенадцатилетними мальчишками, и к ним в подворотню входит кандидат в мастера по метанию копья Александр Ланской, "Буревестник".

- Санечка, не валяй дурака, покажи, что ты принес.

- Предстоит небольшая демонстрация мод, расслабьте мышцы таза!

Фигов коммерсант, нет, чтобы сразу все открыть, всегда вытягивает по одной вещи, чтобы глаза не разбегались. Если строго признаться, то сейчас, пока он достает тряпки, я уже продумываю, что я могу продать. Цвет алый - даже не знаю, как реагировать. Нежный яркий трикотаж. Самого чистого алого цвета. Пойду-ка я померю. Пусть все сидят тихо. "В коридор не выходите". Признаться, я немного не в себе. "Саня, откуда оно?" - "Из Парижа!" Не похоже на фабричное. Надо хоть отдышаться. На всю квартиру одно нормальное зеркало. Сразу вижу, что коротковато, но это чепуха. Таких платьев в природе я еще не видела. Только в кино. Конечно, когда знаешь, что оно из Парижа, все детали кажутся исключительными. Пока одеваешь, еще непонятно, как оно вокруг тебя выплеснется и пойдет жить кругами. Черт с ним! Можно продать обручальные кольца. Широченная кокетка и рукав, а сборки - застрелись, как висят удивительно. Непонятно только, куда его можно надеть? На выпускной вечер. Все движения тела материал повторяет. Нужно встать на стул. Тьфу ты, зад отвисает - оно ношеное. Ношеное я не надену. И отворот тертый.

- Саня, оно ведь ношеное.

- Не лепи! Я же не старьевщик. Его только мерили.

- Сколько?

- Семьсот.

Тут я засмеялась и пошла разоблачаться. Алешка очень серьезно насупился. Не иначе, собирается заплатить. Сейчас

сурово заявит, что деньги - это не женское дело и он с Ланским сам все обсудит. Но я уже отошла. Я это платье носить не буду. - Я готова к следующему.

- Полезная информация, это запоминается. Пока это будет замшевый плащ. Очень тонкая замша. Бельгия.

- Сколько?

- Шестьсот.

- Можешь нести обратно в машину. Больше, чем триста рублей, ты за него в жизни не получишь. В жизни! Помяни мое слово. Где ты его чистить будешь? В химчистку отдашь - это гроб. Считай, что выбросил. Его даже в шкафу нельзя держать: к нему вся пыль липнет. Можешь не показывать! Паук, что ты заладил такие круглые цифры - ты на мне что ли хочешь насосаться?

- Так, так. Пошли специальные девичьи термины.

- Заткнись. Что у тебя там еще есть? Я тебе говорю, плащ можешь не вытаскивать.

- Шампунь. Шампунь можно вытащить?

Шампунь был в очень больших упаковках. Килограмма по полтора.

- Для зоопарков?

- Нет. Для парикмахерских! Три флакона отдам за сто рублей.

- Саня! Зачем мне три флакона? Подумай, пожалуйста, сам. Может быть, Алеше нужно четыре с половиной килограмма шампуня - мне-то они точно не нужны. Мне нечего им мыть. За сто рублей. Пихай все обратно в чемоданчик. Плащ я даже видеть не хочу. Но я тебя предупреждаю, что для этого плаща нужно искать миллионеров.

- Но хоть поесть ты мне дашь?

- Так бы сразу и говорил.

- Ого, супец! - с солдатским восторгом проорал Ланской. Не продал и не продал. Он не расстраивается. Саня - настоящий

мужчина!

- Ты что, не завтракал?

- Не согласишься - великий пост! Ну-ка, Анночка, бескорыстному поставщику моющих средств дамам - тарелочку борща!

- Что хоть за шампунь?

- Знаменитый шампунь "Табак", которым моется Алла Пугачева!

- Отлей мне на один разочек! Пожалуйста.

- Запечатано.

- Не ври. Налей капельку, и Алла Пугачева ничего не заметит. Держи чеснок.

- Играем мы с Илюхой Маликиным у меня всю ночь в де-берц. Обдираю его как липку...

Пока Ланской ест, выясняется, что мать устроила ему утренний скандал, считая, что у него ночует, как он выражается, очередная "пипочка".

- ...и тут я готовлю мамаше сюрприз: из комнаты выходит похудевший Илюха.

Теперь Саня гордо уже три дня отказывается от еды, оскорбленный подросток! Если бы кто-нибудь знал, сколько я уже таких историй выслушала - Саня как засядет, кажется, что он никогда уже не уйдет. У меня от шума голова начинает идти кругом.

- А как тебе нравится Кит? Как это ты не знаешь? Все знают, а ты не знаешь!

- Все знают, а я не знаю.

Саня заулыбался, довольный, как слон. Я еще не видела мужчины, у которого эта тема не вызывала бы сладострастной улыбки. Кит Нестеров уже два месяца был под дурацким следствием, и в последние дни положение его резко ухудшилось. Очень резко ухудшилось. В городе разгоняли кружки йоги, кое-где их называли "группой здоровья", и одну

такую безумно раздувшуюся группу вел Нестеров. Ни в чем особенно серьезном его было не обвинить: какие-то мелкие финансовые нарушения, пять книжек нашли по йоге, напечатанных на "Эре" - на показательный процесс все это не тянуло. Опросили уже около ста свидетелей, но волноваться было нечего.

А потом произошел неожиданный поворот. На Кита подала в суд мать одной из девочек, которая занималась у него в группе. Девочка занималась, а не мать. Мать работала в ночную смену на каком-то камвольном комбинате. Приходит домой: дочь в истерике, постель с красными петухами - только-только исполнилось семнадцать. Очень трогательная история. Я каждый раз не могу поверить в то, что если за человеком нет вины, то ее можно сесть и изобрести.

Произошло это преступление перед человечеством десять дней назад, с четверга на пятницу. С тех пор Ася, жена Кита, начала проявлять какую-то нечеловеческую активность. У Любушки Лесной обнаружился знакомый - крупный милицкий жулик. Уже два раза к нему ездили, он обещал все замять, но что-то крутил. Сегодня Любушка опять туда направлялась с Асей. Если, конечно, они смогли собрать деньги. Кита за все эти дни видели два раза - он, видите ли, к подкупу милицеских чинов отношения иметь не желает. Не то что он против, а именно "отношения иметь не желает".

- ...Нестеров-то наш, орел, малолеточку "прислонил"! Преподавательский талант! Уважаю!

И счастлив. Кит не зря ему говорил, что серьезные занятия спортом вызываются сильными сексуальными комплексами. По поводу метания копья у Кита тоже свои теории. Но он мне осточертел своим Фрейдом. Привяжется, и начинаются пышные разглагольствований, что не может женщина-гинеколог не быть скрытой лесбиянкой. "Вот если покопаться в себе, что ты чувствуешь по отношению к Аське? Она тебя

возбуждает или нет? Аська говорит, что ты ее чувственно целуешь в щеку".

В щеку я ее целую чувственно! Я вообще не помню, чтобы я до нее дотрагивалась. И то, что я к ней чувствую, лучше бы людям друг к другу не чувствовать. Сволочи. Я представляю, какие ушаты грязи они на меня выливают. Вот пусть она сегодня этому подонку из милиции расскажет про чувственные поцелуи, посмотрим, как это Киту поможет. Надоели они мне все: у Ланского и у Алешки горят глаза, чуть слюни не текут - пошли охотничьи рассказы про несовершеннолетних. Как будто нельзя обсудить это в машине!

Наконец они собрались и ушли. Я помахала им в окошко - Саня небрежно пнул ногой по колесам "Запорожца", завел машину и развернулся, наперерез трамваю. Крупный автогонщик.

Как бы то ни было, ранний гость своей игривостью меня расшевелил, и я стала потихонечку собираться. Я не участвую в разговорах о лесбиянках и о лишении невинности семнадцатилетних девочек. И шестнадцати-, и пятнадцатилетних. Мне не интересно. Дело в том, что на прошлой неделе, с четверга на пятницу, Кит невинности никого не лишал. Ночь с четверга на пятницу Кит Нестеров провел со мной.

Глава пятая

ОТ АННЫ

"Владимирская" - очень глубокая станция. У меня с ней тоже очень многое связано. Платформы длиннющие, народу выходит мало, зимой можно сидеть по полдня и открывать свою душу какому-нибудь балбесу-однокласснику. А наверху там - телефонные будки с деревянными дверями: закрыл - и

глухо. Я вообще не могу слова сказать, когда мой разговор выслушивает вся очередь. Но подниматься наверх на "Владимирской" мне всегда надоедает.

Я побежала вверх по эскалатору наперегонки с каким-то мальчишкой, не догнала его, запыхавшись, вышла на улицу и зажмурилась от дневного света.

У метро Васьки, конечно, не оказалось. Жили Шахматовы в двух шагах отсюда, на углу Колокольного, и я побрела ему навстречу.

От рынка тянуло сладковатой гнилью. В ларьках на Кузнечном стояли очереди за смерзшейся рыбой. "70 коп. кило". По 70 - это, наверное, морской окунь с головой. Пьяный рабочий скрюченными пальцами раздирал рыбу "поштучно" и кидал продавщице. Очередь была минут на сорок.

В мусорной урне копались две страшные волосатые старухи в длинных драповых пальто и с одинаковыми клеенчатыми сумками на руках. Это мой контингент, у меня таких пол-отделения. Вся окрестная пьянь вылезла по случаю воскресенья из нор и стягивалась к рынку. Мимо поехал безногий нищий, отталкиваясь массивными утюгами. Старый знакомый. Могу наизусть сказать адрес: Рубинштейна 14-14. Д-з: "Фантомные боли". По ночам, когда поликлиники закрыты, он раза по три вызывает "скорую" колоть себе морфий. Измученный и злой человек.

В Васькиной подворотне стояло несколько пьяниц землистого цвета и бабулечка неясных лет с алыми белками. Я таких в "скорой помощи" навидалась: "Чулок винтом, фингал под глазом - шик Московского вокзала". Ото всех несло социально близким ароматом, который с большим трудом вытравливается из санитарных карет. Политура. С изысканной горечью.

Мужчины называли меня "сестричкой", и я их с осторожностью обошла. За их спинами, в темном дворе,

забитом деревянной тарой, Васька с сыновьями играл "на одних воротах в футбол.

- Ну, ты, типус, уже четверть первого!

Васька дурашливо вытянулся и зычным строевым голосом запел:

На Первое мая листочек я пишу,
Маманя родная, я Родине служу!
Не бойся, китаец, не бойся, француз:
Вовек вас не тронет Савейский Саюз!..

Его старший сын Кеша за это лето невероятно вымахал, и на верхней губе пробился неопрятный пушок. Саркастически подрагивая ноздрями, он посвятил мне какую-то остроту и моментально получил от меня в лоб и пинок по задку. Еще один шутник подрастает на нашу голову; я под большим секретом узнала от Дашки, что Кеша Шахматов пишет фантастический роман про любовь юных шаровых молний в системе неспиральной галактики. Что-то в этом роде. Очень интригующая тема. Это шаг вперед по сравнению с той галиматией, которую рассказывает его отец.

Васька стал загонять "юные шаровые молнии" домой, но не очень настойчиво, и младший начал проситься с нами. Я пошлонила пальцы и попыталась оттереть разводы грязи у него на шее. Если что-нибудь в нашей компании особенно в большой цене, то это супружеская верность - мне тяжело до этого мальчика дотрагиваться. Я всегда это делаю с внутренней дрожью, ненавижу себя, но ничего не могу с собой поделать: копия Кита Нестерова. Узко посаженные внимательные глаза, бронзовые волосы, смуглая кожа и подвижный нежный рот - Кит в молодости. В редкие моменты, когда Нестеров рядом со мной засыпает, мне хочется забраться к нему в мозг и понять, как можно не признавать такого сына. У каждого мужчины есть предел, за которым

начинается бездушное мужское упрямство. Кит выдумал, что у ребенка должна быть стабильная семья. В этом смысле, Васька Шахматов - это, конечно, удачный "выбор". Я еще не встречала другого такого человека, которому настолько безразлично, свой это ребенок или чужой. Да он и к своей жене относится как к маленькой и поэтому совершенно не ревнует. Татьяну это бесит.

Я взяла мальчика за руку и потащила его домой мыться. Удивительный мальчишка - живой, подвижный как ртуть. Когда он на секунду замирает, то клоунское выражение исчезает и в нем угадывается издерганный хрупкий юноша.

Шахматов постучал по кухонной двери кулаком, в дверях что-то крикнуло, и мы очутились в их коммунальной квартире. Между двойными дверями, за серенькой марлечкой, стояли надписанные от руки трехлитровые банки с брусничным вареньем. На кухне, кроме Таньки, было еще двое соседей: толстая железнодорожница чистила грибы, и сосед в закатанных диагоналевых брюках мыл в цинковом тазу мраморного цвета ноги. Васькина жена в кухонном чаду с траурным ахматовским лицом жарила пачку пельменей. В прошлом году Татьяна тайно крестилась. Она преподает математику в Институте точной механики, и об официальном крещении речи быть не могло.

Крещение - это поворотный момент в жизни моих знакомых. Все, кого я знаю, становятся с этого часа настолько нетерпимыми, что разговаривать с ними уже не представляется возможным. Я не думаю, что люди могут стать хуже от крещения, видимо, это совпадение, но факт остается фактом. Я их начинаю побаиваться. Начинает обсуждаться каждый твой промах, каждый шаг, в воздухе пахнет гильотиной, и таким безалаберным людям, как я, права на существование не остается. У Татьяны появился религиозный наставник - никому в их доме не дает проходу. Двести пять

советов в час: не курить, не мыться мылом, не пользоваться холодильником, не носить трусы, обломать высокие каблуки и ходить в одних галошах. Привязывать их к ноге бинтиком. Ваське он советует выйти из партии.

Я когда-нибудь назло вступлю в партию, всегда буду ходить в трусах, а моюсь я не только мылом - я вымачиваю руки три раза в неделю в таких едких растворах, что на кожу уже смотреть нельзя.

Мальчишки унеслись вперед по темному коридору, а я начала, как Катерина в "Грозе", стукаться о подвешенные велосипеды и детские ванночки: я каждый раз забываю, где нужно сворачивать. Пока Танечка по такому коридору доносит пельмени до комнаты, они успевают остыть. Шесть семей, шесть дверей, шесть выключателей в туалете и одна синяя лампочка.

В комнате, на массивном кованом сундуке, дремал Татьянанин духовник. Бороду он не стриг и волосы имел длинные, завязанные сзади выцветшей желтой ленточкой. Два раза в неделю он занимался с Татьяной Священным писанием и давал ее сыновьям уроки латинского языка за нестандартную цену - один рубль.

Следом за мной Татьяна внесла стакан кипятка и поставила его рядом с учителем на сундук. Учитель бережно взял его в обе руки и, улыбаясь, начал пить. Сейчас должен последовать псалом воде. На серебряном подстаканнике была выдавлена Валентина Терешкова в скафандре. Танька купила в комиссионке перед подорожанием.

- Невская водичка, - сказал учитель.

Загадка природы, что она в нем нашла? Очень уж затрюханный, и глаза тоже выцветшие и мутные. Я читала у Зощенко, что у всех мужчин брюки мнутся по-разному, но у идиотов они мнутся как-то особенно, на особенно идиотском месте. И вот без этого человека со странной складкой на

брюках Татьяна уже год ничего не могла решить - она его спрашивала даже, что ей носить и как правильнее мыть посуду. Еще дождемся часа, когда он и самого Ваську из этого дома протурит.

После истории с Китом Танечка невероятно изменилась: это была какая-то ее отчаянная выходка - завести от Кита ребенка. Она ненормальная! Я бы лучше от этого кретина с желтой ленточкой стала рожать, чем от мужчины, которого я люблю, а ему на меня миллион раз наплевать. Это варварская идея - привязывать к себе мужчину рождением ребенка. Нашла себе канат! Кит ее даже в роддоме не поздравил. Между прочим, Шахматов предупреждал ее, что с Нестровым нельзя нарушать дистанцию - сгорит. На наших глазах это уже со многими ночными бабочками случалось. И отсюда мой главный жизненный вывод, что даже равных отношений с мужчинами иметь категорически нельзя. Нужно отставать сразу на три ступени: Кит ко мне неплохо относится, но он четко знает, что он мне глубоко безразличен, Кит мне может не позвонить две недели, а сама я не звоню ему никогда. Ничего благородного в такой позиции нет, но, по крайней мере, находишься в безопасности.

От шахматовских комнат веяло дворцовым неуютом. Потолки были высотой метров в пять. Точно в тон этим забытым гренадерским масштабам было еще облезшее "вольтеровское" кресло и мрачный буфет резного дуба с львиными мордами на дверцах, похожими на карлов марксов. Из рта у карлов марксов торчали тяжелые бронзовые ключи.

Татьяна поставила табуретку на подоконник и с грохотом открыла фрамугу. В комнате стало свежее. Их комнаты были раньше частью танцевальной залы, превращенной в коммунальные лабиринты с лепными картушами и венецианскими окнами. Здесь, на Колокольном, умерла Васькина бабушка - "Софья Николаевна Шахматова, 1

звонок", написано при входе на латунной табличке. Старая табличка. Соседи часто меняются, и бабушку, оставившую Ваське в наследство этот огрызок танцзала, никто не помнит. А Ваську из-за его физических данных и кавказского акцента побаиваются и за глаза называют "грузином". Но когда-то его бабушке принадлежал весь этот дом, а акцент у Васьки азербайджанский. Ваську там воспитывала в деревне его учительница-тетка. Танечка любит при случае поднять брови и снисходительно намекнуть, что Шахматовы - это древний княжеский род. А Васька на это начинает хмыкать. И рассказывает сразу какую-нибудь несусветную историю, типа того, что у них в поселке изнасиловали и убили здоровенную девку-книгоношу, и секретарь райкома сказал: "Товарищи, не улыбайтесь, это с каждым из нас может случиться!" Или как близорукий солдат в их части раздавил сапогом свои очки и начал ощупывать рукой лицо начальника и спрашивать: "Это вы, товарищ подполковник?" Шахматов успел до матмеха окончить танковое училище в Баку, и по сей день у него сохранились молодецкие привычки, к которым женщинам приспособиться трудно: он лучше высыпается на голom полу, ест ножом из консервных банок, курит в туалете с газетой, и его не переучить. А Танечка - профессорская дочка, у нее от всего этого начинается аритмия.

- Тапочки, тапочки, пожалуйста, тапочки. (Вот, вот!)

Ой, мамочки, лучше бы она этого и не говорила: у них паркет сказочный, просто сказочный. Эрмитаж. Танька его с утра до вечера трет. Я могла бы сесть на стул, с самого краешку, но если она меня заставляет переодеваться в тапочки, то я вынуждена прокатиться. Вот оно! Как легко! И бормочу бессмыслицу: "В позолоте, в перчатках, вспархивать, в первой паре, виски пульсируют... по паркету, да по ясеновому, ожерелье рассыпал, княженка..." - воздуха не хватило! Все слова не значат ровными счетом ничего.

Я сделала в музейном войлоке два тура, а маленький Алик за моей спиной начал тоже кружиться, кривляться, подпрыгивать - звон разбитого космического стакана и Васькин шлепок, прилипший к детской попке, раздались в одну секунду. Нужно было меня. Расплата.

Латинист с испуганным выражением лица слез с сундука и начал собирать осколки. Лет ему на вид было от тридцати до пятидесяти, такой пегий полудурок без возраста, с сострадательными глазами. Ползает по полу и причитает: - Зря вы его, Вася, колотите. Детям помогает жить только ласка. Детям и всем людям.

Васька выразительно посмотрел на религиозного философа, но удержался и промолчал. Под каким-то гипнозом я тоже опустилась на корточки и стала доставать осколок из-под стола, оказавшись с латинистом нос к носу. И он сразу начал мне шептать:

- Я потому, что правильно говорить не умею. Вот ищешь, как помочь человеку, рассказать о нем, не поучая, не указывая, а тропиночку к сердцу не найти.

Донышко стакана оказалось под самой стенкой, нужно было шваброй доставать.

- Не смотрите недобро!

Я собрала все свои силы, чтобы не взорваться и его не треснуть.

- Я никак на вас не смотрю.

Мне только не хватало шептаться с этим болваном под столом.

- Вы держитесь за формальные оценки людей и очень себе мешаете. Вы не сердитесь, что я вас поучаю.

Я встала на ноги. И вырвала у него из рук осколки: он нервничал и сжимал их очень сильно - ясно было, что сейчас порежется. Кругом психопаты, можно каждого второго класть в стационар. Жуть, жуть! Было впечатление, что он может

начать жевать стекла, только чтобы я его услышала. Я вспомнила, что Диккенс жевал яйца вместе со скорлупой, чтобы держать в страхе тещу.

- Не бойтесь, я же вас не укушу...

- Отпустите пуговицу.

Он расстроено почмокал губами и огорченно поморщился. Что-то в нем, конечно, было.

- У вас бесконечно богатая натура, но перестаньте судить людей. Откажите себе в этом! Замените это истинным чувством бесконечного уважения к другим жизням. И тогда...

Васька мне сочувственно подмигнул и показал на дверь, но я уже и сама туда направлялась. Латинист мне еще что-то договаривал вдогонку:

- Ведь кольцо обстоятельств так вас окружит, что обязательно проживешь ситуацию, в которой оказался другой.

Какой другой? Каких обстоятельств? Сумасшедший дом! Как Шахматов это все выдерживает?

Глава шестая

ОТ АННЫ

Я - это я. Мне уже не нужно в жизни никаких "новых обстоятельств". Если поверить, что любая жизненная ситуация прокручивается перед тобой по двадцать раз, пока ты ее не разрешишь, если поверить, что в жизни каждого человека есть момент, день, когда все герои его будущих мучений стягиваются вокруг него, чтобы он имел хотя бы формальную возможность всех увидеть и не жаловался после, что его не предупреждали - вот еще несется какой-то запоздалый гость, непременно с тростью, и чье-то лицо прижалось к окну автобуса, - то моя пьеса подходила к концу: все уже случилось, свой урок я поняла, и героев мне хватает по горло. Кругом одни обломки, остовы, клешни. Столы недоеденных

крабов. Винегреты с окурками. За одним таким остовом я сейчас замужем. Он считает, что я "к нему вернулась". Пусть ему хорошо живется. Другой остов зовут Доральдом Ревичем. Откуда взялось такое имя? Еще одного человека я любила, жила с ним восемь лет, и он назывался Дашкиным отцом. Слава Богу, все когда-нибудь кончается - и медовый месяц, и двадцать лет каторжных работ. Есть еще один человек, которому сейчас лет пятьдесят, я о нем давно ничего не слышала, и хорошо бы жизнь не заставила меня его больше видеть. Он был художником. Это ничего не значит. Он мог быть кем угодно. Тогда он был художником. Я вижу на улице сутулую фигуру в клобуке и прочь - я прячусь. Длилось три года. Когда три года кончились, то по метрике мне было восемнадцать лет. В тот момент вокруг меня крутились Алешка и Доральд Ревич, им было по двадцать пять, и я думала, что я им как мама. Что я старше их на две жизни. Что это два невинных младенца, которых страшно совратить. С ними можно было гулять по набережным, ходить в кино, держаться за ручку. Ладонки потели. Целоваться губами. Снова снег скрипел, и какие-то чудеса - хотелось придержать юбку на крутых лестницах, снегоуборочные комбайны с английским акцентом двигались по левой стороне и высекали искры из асфальта. И можно было спросить - "что это?" и "что это?" Меня взяли после школы рейсовой стюардессой в Аэрофлот, но к этому времени мне давно уже было больно жить.

У меня была отвратительная школа. Такой образцово-показательный гадюшник, хуже на свете не бывает. Все друг за другом шпионили. В восьмом классе, что бывает в восьмом классе - я уже не каталась с горок, но еще ходила в школьной форме, - в восьмом классе школьная медсестра разнесла слух, что я беременна. Конечно, я не была, даже близко. Но разбирательство длилось год: через месяц об этом знали все

учителя, через два месяца уже все об этом знали, из соседних школ специально приходили на меня посмотреть. Если бы не папа, то я бы ушла в другую школу или кончила психушкой. Папа говорил, что нельзя переходить в другую школу, пока не стихнут сплетни. Он говорил, что если человек прав, то нужно ходить с высоко поднятой головой и смотреть людям прямо в глаза. Он только не учел, что к тому времени, когда стихли сплетни, я уже и себе в глаза старалась не смотреть.

Наша директриса - маленькая толстая баба с умными пороссячьими глазками - раз в месяц вызывала меня на беседу. О жизни. Родители ни о чем не подозревали, а она прожигала меня насквозь и все видела. Я тогда неплохо рисовала. Мне и нужно было бы поступать куда-нибудь на искусствоведческий - водила бы сейчас экскурсии по Эрмитажу и хороводилась с иностранцами. Три раза в неделю я занималась в кружке при Академии Художеств. Шла обычная жизнь. После школы ездила туда на "шестерке". Из окон Академии Художеств было видно, как на невский лед выпрыгивают буксирчики. У сфинксов были отбиты бороды. Я рисовала или сидела в библиотеке и листала альбомы. Или бродила по мрачным коридорам. В три уже темнело. Идешь по коридору, и из всех дверей слышатся странные слова: "Шелкова! Чья это нога? Это лишняя нога! Обрежь внизу два сантиметра". Лишняя нога. Волшебное искусство состояло из ремесленных замечаний. Я чувствовала себя как за кулисами столичного театра, когда Дуэнья под веером рассказывает Роксане похабные анекдоты, а Сирано де Бержерак оказывается равнодушным угреватым интриганом. Кто-то дотрагивался до моего плеча и начинал говорить: "Вы понимаете, батенька, никто не может написать черную бархатную драпировку, чтобы это было не просто жирное черное пятно..." Я ничего не понимала, но внутри все дрожало. Мне было очень интересно. На винтовой лестнице курили студентки со спутанными

волосами в шароварах. Живописцы. В приоткрытую дверь пустой мастерской я заметила стоявшую у стены картину. Сначала ничего не увидела, кроме угрюмой черноты, прерывающейся бледным поблескиванием. Постепенно глаза привыкли, и холст стал оживать. Спящая серебристая статуя. Пересекающиеся аллеи ночного парка. Душная испанская ночь. Половинка луны. Сжавшиеся деревья. Я оглянулась по сторонам - никого, приникла к двери. И три года от этого избавлялась. Я ни на одну секунду не смирялась. Но я была девочкой. А он был нестигаемым, как скала. Мною он не интересовался. И высасывал из меня все силы. Так, что до автобуса было не дойти. Я не улетала в облака. У меня были странные для пятнадцатилетней девочки обязанности. Все время хотелось лечь на пол и заснуть. Папа говорил вдруг за ужином недовольным голосом, что опять звонила из школы какая-то хамка. Мне было не убежать и не скрыться. Считается, что ты в этом возрасте еще ребенок, и самое страшное, что ты сама так думаешь. Ходишь в школу. А в школе запирают гардероб, чтобы ученики не разбегались. И, как в тюрьме, срезают пуговицы со штанов. У меня до сих пор не отошел страх: я всегда поджидаю Дашку в школьном дворе, мне кажется, что если я войду внутрь, меня там могут запереть. Мария Васильевна - вот как звали нашу директрису. А медсестру от нас потом куда-то перевели. Самое удивительное, что после всего, что было, я смогла забеременеть и родить Дашку. И все забыть. Но сначала еще был Алешка, и был Доральд. Влюбленные рыцари. Но мне было как-то не увлечься. Наверное, нельзя иметь сильную страсть к хорошим людям. Любят всяких неудачников, всяких подонков, всяких гадов, которые вытрясут тебя за день наизнанку, камня на камне не оставят. До сих пор пару раз в год Доральд мне, посмеиваясь, говорит: "Посмотрела ты тогда на меня виноватыми глазами! Не жалеешь?!" Ой, жалею,

Доральд, миленький! Еще как жалею! Но виноватыми глазами я не смотрела. В тот вечер, когда он решился привести меня к своим друзьям, я на него вовсе никак не смотрела. Я отчетливо помню ледяной февральский вечер. Загородный дом. Крыльцо в снегу и парочку, обнимающуюся на вывернутых овечьих тулупах. Дымную прихожую, заваленную смолеными лыжами. Бронзовую цепь. Печной угар и мягкий медовый запах свечей из полутемной комнаты. Меня кто-то легко подтолкнул в спину. Может быть, никто. Я рассеянно растегнула шубку. Подумала, что в комнате что-то происходит, и безмятежно вошла. Полыхающая печь высвечивала плетеные бутылки, бледные полупрофили, грубые шерстяные носки, кости на полу и двух тяжело дышащих пятнистых догов. Смерзшийся мир и жаркое застолье. Глаза, ладони и лица еще казались размазанными дрожащими пятнами, когда я успела вздрогнуть от пьяной шутки.

"Внимание, Доральд привел мою жену!" Я медленно, с напряженной ненавистью подняла глаза на говорящего. Голос шел из угла. Я повернула выключатель. Яркий свет. Очень яркий свет. Все зажмурились. Кроме него. Он на меня смотрел и улыбался. И сказал: "Эй!" И я ответила: "Эй".

Потому, что это не было пьяной шуткой. И пока они там все смогли открыть глаза и привыкнуть к свету, я успела родить ему детей, прожить с ним жизнь, сжимать его ладони ногтями во время родовых схваток и выцарапывать ему глаза от ревности, я успела возненавидеть его, стирать его рубашки, прикрыть его спину и подписаться под всей его жизнью. Я успела умереть с ним в один день. Пока они открыли глаза, мы уже оба все решили. Это не было пьяной шуткой. И я заморожено пошла на голос. В их компании редко краснели, но все-таки тяжело, когда при тебе происходят такие напряженные диалоги: "Ты видишь, я пришла". - "Конечно, вижу".

И мы просто ушли, оставив за собой вакуум. Вдогонку кто-то рванул струны (это был Кит):

- И ПЕРВЫМ ЛЮБОВНЫМ ДУРМАНОМ МЕНЯ ОН НАКРЫЛ, КАК ПЛАЩОМ.

Кит был прав, потому что в один миг я вдруг снова стала девочкой, тигренком из тайги, у которого такой запас жизни, что идет дым. Все прошлое ушло. Мне снова стало восемнадцать...

Глава седьмая ОТ АННЫ

Я не вспомнила даже, кто меня в тот дом привез. Я обо всех забыла. Надолго. На восемь лет...

Глава восьмая ОТ АННЫ

И восемь лет я Алешку не видела и даже не очень часто вспоминала, пока мой муж (мой бывший муж или мой первый муж - все варианты одинаково неудачны из-за удельного веса слова "муж", которое режет мне слух, точнее всего - "этот человек", как его называет моя мама) не отбыл после нашего развода в заграничную командировку, настолько продолжительную, что мне уже четвертый год звонит куратор ГБ по нашему здравотделу и интересуется, нет ли о нем сведений.

А через полтора года после этого Алешка остановил меня на улице. С Алешкой я хоть уверена, что я перебиваю всех его знакомых. Мой первый муж был мне слишком сложен, а я хочу простоты и покоя. Я устала каждую секунду ждать его thunderbolts от того, что у какой-нибудь девушки необыкновенное лицо или особенной кривизны ноги или она

просто весит сорок килограмм, и ее интересно целовать, держа на руках. Его нельзя было оставить на пять минут - уже его куда-то несло, я устала сидеть и ждать с воспаленными глазами у окна, когда меня всю переворачивает и остается только желание ему мстить. Я выжигала его из себя до пустоты, до дырки в памяти. От тех полутора лет у меня рябит в глазах. Мне казалось, что половина Ленинграда ищет мне женихов. Когда появился Алешка, никто к нему серьезно не отнесся. Это меня очень раззадорило. Кит Нестеров назвал моего избранника "редким коллекционным экземпляром". Даже тактичная Леночка Липовецкая считала, что Алешка слишком прямолинеен. Чудно, чудно! То, чего я добивалась! Как-то мы были вместе с ним в гостях у Липовецких и засиделись до поздней ночи. Отношения с Алешкой были еще "цирлих-манирлих", очень церемонные. Он смешной человек, ревнивый, ему очень важно первенство, но он очень надежен, и то, что его принимают за дурака, неправда и неточно. В общем, когда в третьем часу ночи Гришка спросил: "Как вам стелить?" - я ответила: "Вместе". И посмотрела на Алешку. У него напряглась шея, как у жулика-шляхтича, когда его ловят за карточным столом. Честно говоря, я ждала, что меня станут хватать за руки и уговаривать. Но уговаривать меня никто не стал. Люди подивились, потихонечку умыли руки и от меня отодвинулись. А я закусил губу и стала выискивать достоинства своего нового статуса. Иногда я начинаю раздумывать, что важнее - когда ты сама любишь без памяти или когда так любят тебя. Теоретически я все-таки являюсь теперь сторонником холостой монашеской жизни, но как-то незаметно скатываешься в брак. Выход замуж - дело совершенно нестоящее. На него идут по удивительной слепоте. Большинство браков сводится к тому, что сожительствуешь, как правило, с совершенно не подходящим для тебя человеком. При этом неженатые мужчины никого не

удивляют, а незамужних женщин почему-то все жалеют. Почему - неизвестно. И все поголовно измельчали: я еще не встречала человека, у которого полжизни не было бы занято пустяками - выяснениями отношений и любовными травмами. С небольшим опозданием, но я тоже поняла, что в это очень втягиваешься. Какой-нибудь дежурный кретин начинает тебя пытаться: "Ну скажи, ты меня хоть немного любишь?" Ненавижу эти вопросы. Срывающимся голосом. Мне всегда хочется сказать "нет". А если от неловкости сказать "да", то начинается отвратительное выпендривание и кобеляж. Наш идеолог Кит заявляет торжественно, что половой акт - это не повод для знакомства. К сожалению, это повод.

Глава девятая

ОТ АННЫ

Пока Васька спускался, я стояла несколько минут во дворе и слушала, как на первом этаже разминается трубач. Он спел на трубе неведомый мне гимн, который унес меня из вонючего двора-колодца, постукивая мною по водопроводным трубам, поднял над городом, превратил в плоский дым, в дух, начал рвать на части. Со мной произошел некоторый психологический оргазм, и я отпустила душу туда, наверх, прогуляться. А настроение тела заметно улучшилось. Я даже взяла Шахматова под ручку, и мы отправились с ним за тушенкой.

"Князь" перед отпуском постригся за семь копеек наголо и выглядит как допризывник. Ему уже за сорок, но морщин нет и в помине, и несет дикарской свежестью. Когда мне будет сорок, то уже все - буду как печеное яблочко. Но я слабачка, я не умею сопротивляться жизни. Вот Васькина долгожительница бабушка вообще не выходила на улицу по воскресеньям - ей всюду мерещились баяны и первомайские

банты, и прожила она в результате до девяноста четырех лет. Ни к чему не приспособливаясь. А мое тело легко окружающей жизнью убаюкать. Я иду по Загородному, балансирую по поребрику, и встречающая толпа меня то и дело смывает, но принимаю все окружающее за данность, и мне почти нравится. Близко к природе. Прогуливаются крупные помоечные коты. Сопливый мальчик гоняется за воробьями.

Музыка из громкоговорителя. И даже сам поход за говяжьей и свиной тушенкой не кажется таким уж мерзким. Свиные консервы лично для Липовецкого: он жалеет коров и ест одну свинину.

Васька развлекает меня по пути практическими шутками, танцует лезгинку, покупает газированную воду, поет с турецким акцентом "по улице ходила большая крокодила" и жизнью очень доволен. Сейчас нужно будет еще внимательно следить за ним в подвале гастронома: я уже приготовилась перекинуть мостик между своей ипостасью в компании нищих снобов и благородной Анной Васильевной Волковой, ординатором областной онкологической клиники. И мостик этот мы сейчас выложим фантастическим дефицитом от щедрот директора диетического гастронома, моей бывшей больной.

Я помню всех своих больных руками. У этой больной была киста справа. На операции, когда я выводила кисту в рану, она вскрылась. Был участок малигнизации, но несколько лет она неплохо тянет. И для нее я - царь и Бог. Сейчас мы мои заслуги разменяем на жратву - мы уже подходили к магазину, и появлялось знакомое желание спрятаться. Ничего особенного, в общем, не происходило, давно пора привыкнуть. Нельзя же каждый раз устраивать трагедию от того, что несовершенна жизнь, что люди смертны, что есть общество, в котором ты живешь, что нужно, наконец, три раза в день "ням-ням", кушать. Теоретически можно питаться водой и хлебом,

но не получается. Я никого не обманываю, я не ворую, а такое чувство, что постоянно совершаю пакости. И есть вопросы, по которым посоветоваться мне не с кем - так живут абсолютно все люди. Единственный человек, которому я доверяла, немножечко уехал. За тысячи километров отсюда. Далеко. Дальше не бывает. Дальше уже Луна. И след остыл. Других перил у меня нет. Живу как хищница, сугубый практик, день и ночь что-нибудь просчитывая: налево пойдешь - ничего не найдешь, направо пойдешь - потеряешь... Если б честь! А мои друзья по недоступным мне княжеским законам думают только о постели.

Жить бы в таком месте, где "хорошо" - это хорошо, а "плохо" - это плохо, где не нужно было бы всякий раз все решать заново. И убей меня Бог, но липовый князь с авоськами понимает в жизни не больше моего. А спросишь его что-нибудь - без задержки начнется одно балагурство.

- Васька, что ты сейчас обо мне думаешь?

- Ты мне как мать!

- Дурак ты дурак. Что с тобой говорить? Смотри только - при моей больной веди себя прилично.

- В каком смысле?

- В таком! В единственном. Прилично - это прилично.

- За попу можно разочек ущипнуть?

- Убью!

- Некоторым-то все, а некоторым-то ничего...

- Если что-нибудь такое выкинешь - все бросаю и ухожу!

- Могу тебя в рыбный отдел внести на руках.

- Барбос! У тебя жена и любовница, обе на тебя жалуются.

Ты бы поменьше шутил!

Любому онкологу пользоваться блатом чрезвычайно опасно - я помню об этом каждую секунду и стараюсь, где можно, аппетит свой урезать. Кроме вопросов жизни и смерти, куда, безусловно, относится покупка сапог. Шью я себе сама, и

хорошо бы еще купить сапожную лапу, набивать рот гвоздями и самой тачать себе модельную обувь. Вместо этого я позорно сжимаю себя в кулак и трачу свой самый ценный блат - отдел импорта в "Московском" универмаге. Там, на складе, я перестаю за себя отвечать: в голове от восторга что-то лопается, и за пару английских сапог я могу отдаться прямо на картонных коробках. Взятки, блат, деньги - сейчас все этим грешат. Самые мародеры - это урологи, хоть к ним претензии чисто этические. Во-первых, их много, во-вторых, торгуют-то они только возможностью с комфортом помочиться. А онкологическая больница одна, мимо нас не пройти, сидим у ворот на кладбище и продаем билетики.

Начинается все с пустяков: духи, конфеты, гладиолусы. Тропиночка начинает разматываться (как аллеи Павловска с безликими статуями по бокам): и взять нельзя, и не взять нельзя, больную обидишь и поставишь себя над коллективом. Потом вдруг замечаешь, что статуи на этой аллее все как одна с повязками на глазах, а в руках - весы. На правой чашечке весов - операция, а на левой - облучение, так грубо можно разделить наши возможности. Облучаться все больные не хотят, но за какой-то гранью болезни операция уже не помогает, а вредит. На этот счет была простая формула: "Лечение не должно быть хуже, чем болезнь". И рано или поздно приходит день, когда у больной вторая "б" стадия, но ближе к "третьей", и узлы подозрительны, и параметрии тянут - как ни старайся, надо идти ножом через опухоль, а это уже совсем плохо. Но больная слышать не хочет об облучении, идут деньги, идут подарки, и у твоей Фемиды вниз ползет правая чашечка (та, где у нас была операция). В этом месте ты кончаешься как врач.

Плоть слаба, а искушений много. Стоит посмотреть записную книжку моего заведующего отделением. Эпохальная вещь! В ней буква "М" значит "мясо", а буква "Р" - "рыба". И

он, святой человек, не стесняется, все достает по первой просьбе и чувствует к этому даже призвание. Из портфеля с монограммой постоянно торчит чей-нибудь хвост. Мой зав - деревенский, из настоящей деревни, за Вяткой. Говорит, что первый паровоз увидел в пятнадцать лет. Теперь к паровозам он привык, хирург он экстракласса, и портной у него, который шил Романову, но в голове у него некоторое "все смешалось в доме Облонских" - большой город в толк не взять, и ничего с этим не поделать. Я его считаю очень современным героем: вот он стоит у операционного стола - настоящий МАСТЕР, скульптор. Микеланджело. Рот откроет - деревенский тракторист. Он все понимает, сведений очень много, но ему их не расставить по важности: то он просит его объяснить Валентина Пикуля, за которым все гоняются, то во время философского семинара я ему читаю целую лекцию о лифчиках, которые у него, вероятно, на букву "Л". Для справедливости нужно сказать, что по Данилиным каналам, как райские голуби, проистекают такие неземные французские бра, что наши кавалеры слепнут.

Но лифчики - лифчиками, а когда нужно оперировать ленинградскую знать, то к Даниле обращаются очень часто. Считается, что у онкологов лучше руки, в нашей больнице часто оперируют всяких местных "тузов".

Это их пристрастие к нашим хирургам помогло в свое время Андрею так резко поменять место жительства: он оперировал "человека" из ленинградского обкома, и с тем за границей что-то стряслось. Срочно понадобилась консультация лечащего врача, Андрея отвезли в Хельсинки, и уже перед самым возвращением, пока сопровождавший его офицер заказывал в ресторане ужин, "повесил твой муж пиджак на спинку стула и расслабленно, сволочь, вышел".

Так мне, между прочим, на Литейном рассказали. Это был его финальный выверт. Подняли на ноги финскую полицию,

но следов не нашли. А через несколько месяцев моей дочке передали комбинезончик из Стокгольма.

Мы прошли с Шахматовым служебными коридорами и остановились около искомой двери. Сейчас придется улыбаться и разговаривать. Я приготовила дежурную фразочку и выкинула из головы Андрея. Опять я о нем сегодня вспомнила. Уже в третий раз. Но бывают дни, когда я о нем не вспоминаю ни разу. Да и остроты в этих воспоминаниях не осталось. Постепенно я его забываю, остается в памяти не живой человек, а схема. Вот как эта схема разруба улыбающейся коровы. И схема вязки колбас. "Брауншвейгская - два кольца, тамбовская, армавирская, дрогобычская..." Очень поэтичные и полезные схемы.

В магазине мы пробыли около часа. Самое трудное - выходить через отдел с набитыми сетками. Васька поднимает их над прилавком, чтобы вся очередь могла делать завистливые предположения. А на мой змеиный шепот он начинает заливаться, объясняя, что его радость имеет большое воспитательное значение: у людей не должно быть страха, что в стране кончаются продукты.

Я опять дала себе слово, что прихожу сюда в последний раз.

- Васенька, перестань смеяться. Уже не молод, сорок лет, хихикаешь, как младенец. Мне и так не по себе, а еще ты со своими шуточками.

- А что с тобой?

- Не знаю. Ненавижу эти все покупки.

- Я иногда начинаю к тебе серьезно относиться, забывая, что ты недоразвитая. Все это мелочи, суета. Туда банка, сюда банка - человеческая взаимопомощь. Кончай рефлексировать. Ты погляди лучше, кто стоит!

Метрах в двадцати от нас, на остановке "тридцатки", стояла "она", жена Кита Нестерова. Вид у Аськи был жуткий. Будто только вылезла из постели. Я мысленно перебирала всех

знакомых мужчин, которые жили поблизости. Кажется, я догадалась! Очень интересно. Надо сказать, что ничего приятного мне эта встреча не сулила.

- Васька, она нас не видит. Ну, пожалуйста, давай не будем подходить!

- О Ките не хочешь ее спросить?

- Ты о деньгах? Она еще не ездила. Гришка сказал, что встреча в три часа.

Шахматов взглянул на меня с подозрительной ухмылкой, но промолчал, и мы запрыгнули в уходящий троллейбус.

- Привези сетки вечером к Липовецким. И береги их от злых людей.

- Я прямо к Гришке, неохота домой возвращаться. А ты сейчас куда?

Да, действительно, куда же я еду, это мне и самой интересно.

- А на каком мы троллейбусе?

- На "восьмерке".

Значит, судьба. Я вообще не имею привычки ездить к Нестеровым, но уже прошло четыре дня после поступившего заявления. Кит за это время ни разу не позвонил, и было самое время выяснить, насколько он меня засветил и что меня ожидает. Самым противным будет, если это докатится до работы. Я представила себе, как на утренней конференции после обычного доклада начинают разбирать мой моральный облик, и передернулась.

Очень кстати я увидела на улице Аську, и ее вид навел меня на мысль. Хоть и вид, и мысль были ни при чем. И к цели моей поездки отношения не имели. Даже не потому, что у меня не было энтузиазма целоваться в "знойный полдень" - я до сих пор не могла до конца понять, почему я уже три года, ничего сверхъестественного не испытывая, безнадежно запутывалась с Нестеровым. Ему наши отношения, на мой взгляд, ничего не приносили, кроме унижения и мучений, да и

меня развлекали не слишком, но поставить на этих встречах раз и навсегда точку нам обоим не удавалось. Я пошла когда-то на эту связь, в основном, чтобы себя проверить. После восьми лет замужества полезно выяснить, осталась ли в тебе еще хоть малая капелька женственности. На сегодняшний день я уже все про себя поняла: называя меня "тетей", поганец Ланский все-таки ошибался. Хотя и не очень.

Васька на Невском вышел, а я стала следить за обнимающейся напротив меня парочкой и от этого почувствовала себя очень несчастной и старой. Это одна из причин, почему мне с Китом не расстаться: где-нибудь некстати раздеваешься, покрываешься гусиной кожей, и сразу становится так мерзко, что меньше чувствуется возраст.

Глава десятая ОТ АСИ

Не то чтобы любви совсем нет. Но настоящее меняет прошлое. Точность характеристик всегда тяжела. Смуглые лица склонны к увяданию. Кровь не просвечивает. Если себя одернуть, то можно казаться моложе. Когда у людей столько разных мнений о человеке и он тебя боготворит, это лестно. Только не мне. Я любила в жизни одного человека. Мужа этой женщины, которая выходит из гастронома с Василием Шахматовым, светлым князем. Муж был ей не пара. Муж был парой мне. Конечно, я их вижу. Князь чертовски потеет. Я люблю только посторонние разговоры. Не то чтобы любви совсем не было, но всегда тебя накажут. Всегда накажет муж этой женщины. Сложное родство. Конечно, я их вижу. Так внутри черно-черно, а вдруг вижу знакомых, и сразу хочется засмеяться. Очень глупо и некстати. И я совершенно к встречам не готова. Только бы они сели в этот троллейбус. С моей репутацией можно не соблюдать приличий. Солнышко

выглянуло, и одной щеке тепло. Надо уши проколоть. В Грузии есть примета, что к замужеству. Звезды будут в ушах. Кажется, садятся. Мне сейчас, в моем нежном состоянии, не выдержать ее поцелуя в щеку. Опасная манера здороваться. Я слишком недвусмысленно выгляжу. Ничего не замечать может только Кит. Он невнимателен, как все мужики. Уехали, пронесло. Очередная пара. Мы уже все переблудились. Сейчас бы начала трещать. Мелочна, поверхностна и самодовольна. И я немногим лучше. С той лишь разницей, что себе я никогда не вру. Последнее мое достоинство. Они еще все думают обо мне, что я неосторожная красавица. Мне мука играть эту роль. У красавицы должна быть гордость, и красавица должна быть стервой. У меня нет гордости, и я не стерва. Если на тебя накидываются с двенадцати лет и ты не стерва, то тебя ждет канава. И внутри не осталось ничего. Меня больше нет, я мертва. Все как в песок ушло.

Ничего внутри нет, и не надо. Где-то там текло и в рот не попало. Игривое очень настроение. Юмор висельника. Висельницы. Это мне еще в голову не приходило. Вешаться не буду - нет сил. Уважительная причина - у меня нет сил. И розы больше не стоят: на третий день вянут. Я люблю розы - пусть они и пошлые, и пышные, но я люблю розы.

Нет больше сил сопротивляться предложениям. Меня не интересуют сами предложения. У меня другая программа. Я бывшая - это ложное достоинство. Смирение. Я так вываляю себя в грязи, что красоты не будет собачьего духа вдалеке, останется одно смирение. Боже, как нехорошо, как плохо. Сейчас очередной похотливый трус. Хуже всех. И ведь точно знаю, что я опять завтра к нему попрусь. Какая-то моя патологическая активность. Унижаться понравилось. Кит может быть доволен: я реализую все его идеи. Я еще многому научусь.

Куплю бирюзовые серьги, а то я слишком скверно выгляжу.

Расческу я, наверное, забыла. Все равно зеркала нет. Можно посмотреться в дрожащее окно кофейной.

Да я не на тебя смотрю, дурак, меня не интересуют такие... Раньше меня боялись - никакому мерзавцу не приходило в голову заговорить со мной на улице. А теперь со мной заигрывают пьяницы. Смирение - вот оно, вливается. Скоро я смогу заниматься этим в кофейнях, оставляя... на одной ноге. Может быть, Нестеров станет ко мне повнимательнее, а то я могу перед уходом на "лекцию" принять душ и поменять... у меня могут дрожать руки, я могу как угодно пахнуть - эту... ничем не достать. Ах, как я влипла! Сама виновата, я не сразу их поняла - отвратительные тщеславные подонки. Внутреннее совершенство и сексуальная революция. Сексуальная революция - это я. Я уже могу проводить закрытые партконференции по вопросам любви и быта. Первый вопрос повестки: "Во сколько лет девочки вступают в царство ...на земле?" Второй вопрос: как потом из этого царства выкарабкаться. Или, может быть, вам интересно, в каком возрасте меня в первый раз... и изнасиловали? Могу рассказать. Я - бывшая красавица. Я могу себе позволить больше, чем остальные люди. Я - закон. Потому, что я вас интересую, а вы меня нет. Ничего больше не осталось - только одна гнусность. У меня отличный наставник - это мой муж. Я даже не успела опомниться, как пошла по рученькам. Он хочет, чтобы мне было лучше, чтобы "я сама выбирала". Чтобы отвыкнуть от всего, к чему он меня приучил, меня нужно поместить в исправительную колонию и, желательно, не в ... "Как красиво, когда ... целует в губы..." Хотела бы я посмотреть, как он сам сможет поцеловать в губы мужчину. И сколько часов ему потом нужно будет отплевываться. "Царство секса" - я три дня не могу подойти к собственному ребенку. Я должна смотреть на дочь виноватыми глазами и думать, что она связывает меня по рукам. Нужно было

сделать... Любка задерживается. Еще пять минут жду, и пусть пеняют на себя - я не могу торчать тут вечно. Эти деньги лучше отдать в детский дом. А на его суде я, для разнообразия, выступлю главным обвинителем. Или просто поведаю наши альковные тайны. Чтобы дополнить моральный облик. Это же не преступление - говорить правду. Ему еще судьи посочувствуют. Скажут, что зря вы женились на этой ..., нужно было выбрать честную девушку с макаронной фабрики.

В одном Анне не откажешь - она научилась держать Нестерова на коротком поводке. Не люблю ее. Чистюля. Мы уже сорок раз квиты. У нас общих... больше, чем она думает. Хочешь узнать, отчего уехал Андрей? Вряд ли он тебе об этом рассказывал. Я ни перед кем не чувствую вины - я не просила себя спасти. Тимуровцы. Мне не нужно вашего отвратительного счастья. Его нет на свете. Раньше хоть я своими проблемами никому не причиняла вреда. Пока они не навязали мне ребенка. Гады, гады, подонки, тщеславные лгуны! Они думают, что мне станет легче, если я увижу перед собой в постели какую-нибудь распаленную скотину. Герка был в свое время честнее всех, сплавив меня Киту. Потом этот субъект говорит, что я сама должна все решать, а Андрей отправляется в канадский вояж, вскрыв меня как консервную банку и оставив беременной. "Не знал!" Что с того, что он не знал. Он должен знать, что от любви рождаются дети. Много слов, а в глубине у них неверие, мрак и трезвость. И предательства - цена их дружб. Все одни натяжки. Думают только, чтобы залезть кому-нибудь под ... Какие-то садисты: не умеете обращаться с людьми, так хоть никого не трогайте. Нет мужчин. Почему нет мужчин? Есть женщины, и вокруг них слоняются кастрированные размягченные тени. Ни достоинства, ни доброты. Всего Шекспира хватило на одного Меркуцио. С дьявольской усмешкой. Неужели не предавать близких людей можно только с дьявольской усмешкой?

Гнилое место...

- ГГгивет, Любаша. Не извиняйтесь, я не се'гжусь. Я тоже не из це'гкви. Я надеюсь, что ваши высокие д'гузья п'гостят нам опоздание.

Глава одиннадцатая ОТ АННЫ

Я бросила взгляд на уличные часы - минутная стрелка сразу заволновалась, сделала два оторопелых прыжка и остановилась на без четверти три. В запасе у меня было два часа. Я посторонилась, чтобы выпустить из парадной милиционера, вежливо придерживавшего мне дверь, за что я его одарила самой сладкой из своих улыбок. После работы на "скорой" я отношусь к милиции вполне терпимо, целыми ночами работаешь с ними бок о бок. Я ко всему стала относиться терпимее: к тому, что таскаешь носилки по таким средневековым лестницам, как эта, к тому, что дома без номеров и ищешь по сугробам нужный адрес часами. Носилки не развернуть, да еще больной съезжает вниз, прямо тебе на спину, тяжело до плача - "черные" лестницы - это воистину наказание Господне. И соседей на ней всегда мало. А у Нестеровых на лестнице даже днем темно - одни глаза кошачьи светятся. Я остановилась на площадке у маленького окошка и припудрилась. От меня здорово несло сигаретами, он не любит, когда я курю. Потом я перевела глаза на дверь, и у меня все внутри опустилось: дверь была опечатана. Я успела заметить сегодняшнее число и гербовую печать на сургуче и совершенно неосознанно побежала дальше, наверх, чтобы, если сейчас за мной следят, было видно, что "нет", я не в эту квартиру, я просто шла мимо. Над ними был еще один этаж, и дальше шел чердак. Судя по табличке, верхняя квартира была сильно коммунальной - я успела запомнить фамилию

Кабалкин, к которому было пять звонков. Если остановят, сразу скажу, что была в восемнадцатой квартире у Кабалкина и не застала дома. И тут я сообразила, что должна сделать: дверь на чердак была приоткрыта - пройду через чердак и спущусь вниз по другой лестнице. Остановят - остановят. До работы дойдет - уволюсь. Чего я, собственно, лечу? Просто не хочется влипать ни в какие истории, никакого страха нет. Я прошла на цыпочках последние полпролета до чердачной двери, посмотрела вниз - лестница вымерла, не было ни души. Повернулась - и на чердаке сразу же столкнулась с рыжей рябой бабой, развешивающей фиолетовое белье.

- Тебе чего?!

- Мне девятнадцатую квартиру... - пролепетала я наобум, заискивающим голосом.

- Откуда ты тут в доме девятнадцатую взяла? Где она тебе на чердаке возьмется? Да ты, небось, и сама все знаешь? Чего это ты запыхалась? Белья чужого надо? Я таких птиц видала...

- Вы с ума сошли!

- Я тебе дам "с ума сошла". Егор, держи ее! Я тебя, суку, в милицию сведу...

Я побежала вниз. Егора я никакого не видела. Вроде бы за простынями там кто-то икал. Уже не скрываясь, выбежала через низенькую дверь, выходящую во двор, ни души, заставила себя не бежать, а просто быстро пройти двадцать метров, нырнула в соседний дом и вышла на Неву - я все еще не встретила ни одного человека. На часах было два пятьдесят - прошло всего пять минут этого кошмара. Метров через сто я позволила себе отдышаться. Ну и ну, ничего себе приключение! Теперь нужно выяснить, что же с Китом. Если его забрали, то зачем опечатывать квартиру, странная история. Надо всех срочно предупредить, чтобы, кроме меня, тут еще кто-нибудь не влип. Автоматы все, как назло, не соединяли, наконец я нашла целый, набрала Гришкин номер и, не

дождавшись ответа, повесила трубку и медленно потащилась по набережной, к Литейному мосту: Гришке звонить было никак нельзя. Шахматов, наверняка, уже там. Как мне объяснить, почему я оказалась на лестнице у Нестерова, когда я ехала к себе домой и мы только что встретили Асю? Пока я шла, самое лучшее, что я смогла придумать, это вызвать к телефону Шахматова, как-то ему все объяснить и попросить, чтобы он никому не говорил, чтобы не дошло до Алешки. Пусть скажет, что он сам был у Кита и видел там печати. Я опять задумалась. Ситуация начала уплывать из рук. И я сейчас уступала еще одну позицию, но не сделать этого я не могла. Этого кретина поймают, и я всю жизнь буду чувствовать себя виноватой. О моих отношениях с Китом, видимо, знал Герка, по той простой причине, что мы чаще всего встречались у него в квартире. Сейчас я ни с того ни с сего взвалю все это на князя, который и своих-то тайн не хранит. Теперь считай, что все посвящены. Дело не в Алешке, но так не хочется посвящать этих уродов в свои дела... Я все-таки позвонила. Кита там не было. Шахматов долго слушал, что я лепечу. Что не хотела ему говорить, что поехала к маме и случайно зашла в Нестеровым...

В трубке было тихо, он хорошо меня понял. В конце концов он спросил, чего же я все-таки хочу, и стало ясно, что я позвонила зря. "Не болтай никому про то, что я тебе сказала". Васька что-то в ответ промычал.

Мне нужно было эту фразу повторять самой себе, а не Ваське. Сто раз кряду. Черт меня за язык дернул. "Узнай, что с Китом, и немедленно мне перезвони! Слышишь? Немедленно. Только мне, а не Алешке". "Мне столько сразу не запомнить", - сказал Васька и первым повесил трубку. Через пять минут я была уже у себя дома. Мне никто не открыл - это значило, что Алешка еще не возвращался и Дашка где-то шляется. Я начала переодеваться, потом раздумала, стала ходить по коридору и

ждать звонка. Если Шахматов позвонит при Алешке, то придется все ему рассказывать - пристанет как банный лист, начнет канючить, пока я все не расскажу. Меня раздражала неизвестно откуда взявшаяся обязанность перед ним отчитываться. И квартира как тюрьма. Тесная, темная. Кто бы знал, как я ее с детства ненавижу. Половину моей жизни в ванную нельзя было войти - по вечерам от воды начинало бить током. Монтер не верил и орал, что у него "в глазах телевизора нету". Пока не выяснили, что это воруют электричество внизу, в скорняжной мастерской. В коридоре двум людям было не развернуться. Дед набил квартиру мебелью до отказа. На грузовиках, наверное, свозил. Лучше бы он золото скупал. Ножки у всех столов разные. Мамины какие-то алкоголики чинили. У мамы были в кабале все районные забулдыги. Приходили, чувствовали, что дура и никогда не откажет. И деньгами никто не отдавал. Все чем-нибудь отрабатывали. Когда папа умер и денег стало меньше, это была целая проблема - отвадить их от дома. Вот уволюсь и начну продавать мебель. Отвезу все на толкучку и буду спать на газетах.

Из длинного зеркала, установленного на коробящемся паркете в прихожей, на меня смотрела босая тридцатилетняя женщина в ядовито-зеленом плаще. Выглядела она еще неплохо, только глаза были напряжены и невеселы. Оставалось сказать, что ни добрее, ни лучше за последние пятнадцать лет я не стала. Хотя мама могла быть за меня спокойна - я была хорошо устроена. Уважаемая специальность онколога-гинеколога. Еще не старуха. Я еще влезаю в свои девичьи юбки. Когда я еду по эскалатору, на меня оглядываются старшеклассники. Просто нужно быть сдержаннее и себя постоянно контролировать. А расслабляться поменьше или в меру своих сил. Вот это, в зеркале, моя мера: циничная пантера, вызывающе руки в

карманах. Десять лет как ветром сдуло. Стоишь, взъерошенная, и кажется, что все было еще "понарошку". Я выяснила за эти десять лет, что мужчинам в тягость, когда их любят, им это не нужно. И я больше не хочу быть ничьей половиной. Был человек, которого я никогда не прощу, помню, что Дашин отец. Даже имя вспоминать не желаю. И зеркало пусто. Из кухни показался крохотный серый мышонок, я знаю, что он живет за обоями, но у меня не поднимается на него рука. Нужно его тоже послать на Запад - нам тут скоро самим есть будет нечего. А потом я увидела, как открывается входная дверь и с целым ворохом пылающей рябины возвращается Алешка. И в зеркале снова всплыла я. Начала говорить, улыбаться. Раз Шахматов не звонит, Алешку из дома нужно было срочно уводить - по дороге что-нибудь придумаю. Алешка переоделся, и мы поехали к Липовецким. Даша нам попала навстречу около самого дома. Если сегодняшний день не кончится полным крахом и мы все-таки поедем в отпуск, то я уже точно решила оставить свою дочь в Ленинграде.

Через восемь дней мы собирались в маленькое каштановое ущелье, чуть южнее Сухуми. Подальше от осени и от жизни, прочь, "за скобки года". Весь прошлый отпуск мы с Дашкой там проскандалили. Был единственный спокойный день, да и то когда она с утра до вечера уходила с ребятами за вином в горы. Тогда я поклялась, что ее больше с собой не возьму - пусть поживет у мамы. Мамой она вертит как хочет. Та ее даже уроки делать не заставляет. Говорит, что девочка не Змей Горыныч, "головочка у нее одна", нельзя ее перегружать. Разве это нормально, что у девочки в одиннадцать лет нет ни одной подруги? Я в ее возрасте таскалась по помойкам с второгодниками, а эта - прилипнет ко взрослым и слушает разговоры, кто с кем спит.

Я напомнила ей про уроки и про мусор, а она пробурчала в

ответ: "... вырасти семь розовых кустов, перебери три мешка пшеницы, познай самое себя... Чао-какао!" - "Что ты там бормочешь?... "- но она уже скрылась в парадном. Лучше всего она была в первые минуты после рождения: голубок некрасивый появился, с хохолком, весь синий - чистый дух. "Тусся" - значит "тужься". И уроков на понедельник, наверное, нет. Зря я к ней пристала.

Глава двенадцатая ОТ АННЫ

К одному из бесспорных Алешкиных достоинств относится то, что с ним удобно вместе идти по улице, он легко подстраивается под мой шаг. Моего отца всегда раздражало то, что мама за ним не поспевала и всегда забывала, под какую руку его можно держать, чтобы не мешать отдавать "приветствия". Грустное признание: я из семьи потомственных морских офицеров, "офицерская дочка". В военного моряка, при удачном стечении обстоятельств, я могла бы даже влюбиться - они не вызывают у меня такого стойкого отвращения, как все другие военные. Офицерские дети - это самый неблагополучный контингент, основной фонд красного декадентства. А вот в Алешке декадентства нет. Он из баптистов. Или из сектантов, я их не очень различаю, не из "хлыстов". Мне перед ним немножко стыдно, и жалко его - невозможно ведь вообще никак не относиться к человеку, за которым ты замужем. Я могу ему иногда даже сказать "очень люблю", и во мне при этом ни одна клетка не протестует: приставленное к "люблю" слово "очень" делает все выражение спокойным, умеренным и пристойным, то есть полностью лишает его смысла. И еще одно Алешкино достоинство - в том, что его ни с кем мне не нужно делить...

- Тоже нет? Попробуем в "Филипповскую".

В четвертой булочной нет тортов. Алешке приспичило в конце воскресенья найти бисквитный торт. Мы все шли и шли, он мне что-то рассказывал, и было уже поздно говорить, что сегодня к Липовецким идти не следует. А брать его с собой было просто самоубийством. И ничего не придумать, и ноги - чугунные. Перед последней булочной я не выдержала: "Знаешь, если ты сегодня услышишь что-нибудь неожиданное, обещай мне, что ты не будешь это там выяснять..." Алешка замолчал. Я думаю, что ничего хорошего он про себя не подумал.

Все-таки не совсем же он болван, чтобы мне до конца доверять. Очень окольным путем вся история всплывает наружу. Какую-то неведомую идиотку ставят в ночную смену, и дальше все нити начинают расползаться, как тараканы, и даже себя я уже не в состоянии контролировать. Пойти завтра к следователю и сказать, что в ту ночь Кит был со мной.

Принести вещественные доказательства. Не знаю какие. Анализ мочи. Очень противно, но, видимо, все равно идти придется. Интересно, где будет жить Аська, пока все не выяснится. Не может быть, что только за йогу и за это высосанное из пальца изнасилование станут опечатывать квартиру. Что-то было. Но даже самые смелые мои предположения натыкались на стену неверия. Наркотики? Бриллианты? Не может быть - хоть убей, не может. Скорее всего, какая-нибудь антисоветчина. Больше быть нечему. Со мной никто не делится потому, что мне это не интересно. Я не настоящий интеллигент, я ни с кем не хочу бороться. Когда со мной говорят о диссидентах, я могу слушать и думать при этом, что нужно распустить мохеровый шарф и достать на Кондратьевском рынке простую шерсть похожего цвета, чтобы свитер получился пушистым. Может быть, это звучит цинично, но я не вижу большой разницы между демократическими странами и таким свинюшником, как у нас.

Если Бог есть, то во всем есть какой-то смысл и разницы нет, а если Бога нет, то тем более все сводится к тому, в какой стране удастся вкуснее покусать. Кит это называет откровениями слабого девичьего ума. Пусть застрелится, я ему тоже свои тайны не поверяю. И никому другому. Но это тяжело. Обязательно нужно иметь человека, которому можно поверить тайну. "Подружку". Последняя моя подружка кончилась в седьмом классе. Я иногда встречаю ее на улице и восторженно визжу. Но дальше кофе с пирожными мы с ней не заходим. Когда-то были мои личные ленивые отношения с Гришкой и с Леной. Они распределились втроем с Андреем в Малую Вишеру, и я таскалась туда по воскресеньям с маленькой Дашкой. За зановесочкой ночевала, в физиотерапевтическом кабинете. "Подружкой" мне был скорее Гришка. Лена - человек тяжелый. У нее всегда на все свое категоричное мнение, которое она старается не высказывать, но достаточно и того, что она его имеет. Из Малой Вишеры Андрея перевели в областную хирургию, а Липовецкие пустились в брачные аферы и, в конце концов, получили ленинградскую прописку и вот эту квартиру с Мариинским театром из окна. Постепенно ее превратили в проходной двор: Гришка открывает ночью не глядя и, не здороваясь, скрывается в опочивальне. Приходят неизвестные мне люди, поиграют в карты и уходят. Чьи-то знакомые. Наша компания - это такой разросшийся организм - каждый в ней значит разное, но незаменимых людей нет. Начиналось все когда-то с совместного поддавона и флирта, и если бы компания состояла из таких людей, как я, то давно бы все распалось. Но Кит или Гришка - люди другие. И окружающая жизнь от них сильно зависит. А я среди них - это "народ", который в расчет не принимают, но он тоже нужен, и иногда им можно даже вдохновиться. Сюда же, в эту нервную обстановку, к Лене привозят больных детей. Тем, кто приходит второй раз, Лена преподает курс дикой педиатрии.

Типа того, что кислород - это яд, дышать вредно, а от простуд к ногам прикладывать толченный кирпич. Сидеть в скипидарной ванне и жевать петрушку.

Гришка ее ругает оптимистичной дурой, он не верит, что "родителей" чему-нибудь можно научить. Через день они уже от головы и от живота дают ребенку "тетрациклин" и отпаивают жирными бульонами. У Лены было страшное детское отделение в Вишере, не хочется вспоминать. Таких запущенных детей привозили из деревень, таких уже синих... Лена говорит, что, потеряв в отделении первого ребенка, она за одну ночь стала другим человеком. Не то чтобы черствей. Педиатру профессиональная черствость не нужна. Вот если мне умирать с каждой своей больной, то надолго меня не хватит. Делаешь, что можешь, и отстраиваешься. Было. Умирала. Сейчас я могу отпустить себя на десять секунд: рак - ну, рак, смерть - значит, смерть. Бог дал, Бог и взял.

- Купил? Покажи. Неужели это можно есть? Какой жирный! Гришка потом эти розы намазывает на булку.

Я не циник, я просто устала. Все эти снобы фиговы, мои друзья, с "большевиками не сотрудничают", а на неработающих врачей смотрят как на отбросы человечества. При этом им самим никто не мешает пойти работать санитарями, ну хоть бы в детское отделение. И зарплата санитаров и врачей не очень отличается - все равно раздашь долги и остается треть того, что нужно на жизнь. Как-то все выкручиваются. Гришка вот мотается летом по стройотрядам, зарабатывая себе на зиму. Я этого счастья хлебнула, когда моей дочери был один год: в маленьком поселке, на границе с Монголией, Андрей работал плотником, а по вечерам вел прием в деревянной больничке. Меня он взял с собой неохотно, и комсомольской романтикой там не пахло. Я была влюбленной идиоткой и смотрела на него дрожащими глазами, но работать рядом с ним и Гришкой тяжело. Не

выдерживаешь. Они оба пропитаны таким хроническим юношеским максимализмом, застарелым, неуместным, особенно сейчас. Мы современные люди. Современные женщины. Я уже не знаю границ, которые я не могла бы переступить.

Мы со своим замечательным гостинцем из маргарина уже почти добрались до цели: перед дверью кто-то повизгивал и курил. Это "кто-то" я внимательно осмотрела со всех сторон. Та самая девочка. Еще та девочка. Глазки пуговками и алый обсосанный ротик. Непонятно, кому может прийти в голову ее насиловать. Герка ее всю обхаживал и мял ручку. В таком приподнятом настроении я его давно не видела.

- О! - сказал мне Герка. - О! Кто к нам идет! И кого мы все нетерпеливо ждем. И как, заметьте, вовремя. В тот самый миг, когда Кит Нестеров нам поведал всю правду.

Я стояла как стояла. Пол начал уходить из-под ног. Я даже не сообразила сразу, что Кита не посадили: Асмодей во всем блеске скакал передо мной на оранжевом коне, хлестал меня бешенством по глазам и расцвечивал картины страшной мести. Отлично. Отлично. Будем все говорить только правду. Я его уничтожу сама, своими собственными руками. И сейчас же. Алешка около самого входа засуетился и успел меня спросить смущенно: "Слушай, Анночка, о чем это он говорит? Подожди, я докурю". Но я не ответила и вслед за Геркой вошла в квартиру.

Глава тринадцатая ОТ АННЫ

*Век восемнадцатый, актеры играют прямо на траве.
Б. Окуджава*

- Еврейских - шмеврейских! А сколько татар крестили? Или тунгусов? Кого эти мелочи интересуют? Исторический

процесс. Из чего-то же должна получаться русская нация. Шесть процентов одних да девять других...

- И шестьдесят девять третьих!

Я ношусь по чердакам, а эта сволочь сидит здесь как ни в чем не бывало и беседует про евреев с Шахматовым, который не может запомнить слишком много сразу. И не удосужиться мне позвонить. Прекрасно. Замечательно. Он меня не бережет, и я никого беречь не собираюсь. "Брысь!" - Зоологический парк. На голову прыгают тощие сиамские коты. Пес их дурацкий, только войдешь, начинает сразу лапать, будто я ему невестка. В жизни никто не скажет "здрасьте". На трюмо у входной двери Фимка Пази и "Сорока" Сорокин колошматили по шахматным часам и "до флажка" таскали по доске двух ошпаренных коней.

Разговор в комнате прекратился, и аудитория лениво развернулась ко мне. Паузу я выдержала прекрасно. Теперь моя игра. Я хочу, чтобы меня слушали. Боком ко мне, на круглой стиральной машине, перед тремя Гришкиными детьми сидел Нестеров и показывал им фокусы. На полу холмами и кучками было выложено полтора миллиона предметов - все, что мы собирались брать с собой на море: спальники, палатки, крупы, бутылки, два мешка картофеля, словари, лопаты, кружки. На словарях стоял возмущенный Гришка с волосатой грудью, в широких трусах с цветочками.

- Как дела? - спросила я. - Нестеров! Какой сюрприз! Разве тебя еще не посадили? А как здоровье Аси?

Кит сделал руками несколько широких пассивов и вытащил из стиральной машины черного кролика величиной с пушистую рукавичку. Дети и Лена восхищенно застонали. Фокусы он показывает. Думает, что я его не достану.

- Как здоровье Аси? - повторила я. - Знаешь, я решила, что это была отличная идея: пропустить ее через милиционеров. Только как бы потом она нас всех не перезаразила. Можно

устроить такой тест: пропускаем ее через следователей и потом смотрим, останется ли к концу месяца среди нас хоть один человек, не охваченный вендиспансером.

Леночка вытолкала детей в соседнюю комнату.

- Мадам, отключите вибратор, - сказал Пази и расхлябанно пошлепал себя по губам. Я напряглась и впилась глазами в Нестерова. Он смотрел на меня с сочувствием и не сердился. Мне показалось, что он не понял, почему я пошла вразнос. Герка рядом со мной выпучил глаза, открыл рот и высунул восторженный язык.

Тогда я с опозданием поняла, что Герка меня разыграл. Очень тонко. Он рассчитывал, что я промолчу.

Пока мы с Геркой переглядывались, хлопнула входная дверь, и Алешка с торжественным видом внес в квартиру торт. У меня сразу заняла печень. Алешку придется принести в жертву. Не хватало, чтобы он тут всех поубивал. Кит его не любит. То есть он Алешку органически не переносит. Я приняла в руки торт, прижала Алешку к стене и погладила его по груди: "Уйди, пожалуйста, домой!" Он посмотрел с изумлением, но все-таки ушел. Тогда я выдернула из-под Шахматова пуфик, поставила торт на пол и с размаху на пуфик села. Под Шахматовым таких пуфиков было пять. Все покачали головами, но никто ничего не сказал.

- Да, - продолжал Гришка, - а что я ни в одну кардиологию устроиться не могу, это тоже справедливо? Кто от этого страдает?

- Там и так одни евреи, - крикнул Фимка. - Я не говорю "справедливо", я говорю - "логично".

- Плата евреев за их пролетарскую революцию, - перебил его Шахматов.

- Ты прожуй огурец и подумай. Ленка, чтобы ты больше до Нового года не скормила им больше ни одного огурца! Пестель тоже еврей? Ты послушай две вещи: ты валишь все на

евреев и свой русский народ низводишь до стада баранов...

- Любой народ - это стадо баранов.

- Это как сказать. И второе: ты что, считаешь, что я меньше русский, чем ты или Волкова? Ты ее запихни в другую страну, через месяц ее от любой шведки будет не отличить. На тортике будет надпись на другом языке.

- При чем тут торт, ты относишься к жизни, как к явлению...

- Ленка, ты готовь чай, ты его не слушай. На тортике все правильно написано.

- Обиды значения не имеют. Дано: евреев никуда не берут. Причины: или мир плохой, или евреи недостаточно хорошие. Или и то и другое.

Пока Шахматов говорил, Гришка старательно на меня не смотрел. Он единственный не простил мне мою выходку и что-то затаил.

- Какая разница, кем был Пестель или Ломоносов, может быть, их вообще не было...

- А вы слышали, что Ганнибал был марокканским евреем, - сказал Сорокин, - то-то я всегда удивлялся, что негра родственники приезжали выкупать.

- Мое личное мнение, - сказал Васька, задумчиво развязывая веревочку на коробке с тортом, - что евреи все эти тысячи лет что-то серьезное нарушают, и за это их наказывают.

- А за что наказали Христа?

- Ты не используй Христа как обоюдоострый меч, если евреи его не признают, то и аналогии неправомерны. Что за вера в Бога, который только награждает? А наказывает не Бог, наказывает "плохой жлоб". Наказывает тот же самый Бог.

- Ты еще увидишь, во что вся ваша ср... математика превратится без евреев. Такое будет убожество, что смешно слушать. Васька обречено махнул рукой, а потом вдруг заискрился и сказал:

- Ты же говоришь, что Николай под пытками крестил сто

тысяч мальчиков, вот их внуки на матмех поступать и будут. Ты ведь тоже женился на русской. Подожди, ты еще своих детей на Фонаревых перепишешь. Или ты их евреями собираешься записать?

- Ломоносова была фамилия Ораниенбаум, - сказал Фимка. Он со своими шутками сидит у всех в печенках. Ложишься спать и никогда не можешь быть уверена, что он не окажется под кроватью.

- А справедливость - это понятие не творческое, а регулятивное. Введено для нашего удобства, - Васька наконец развязал торт и ковырнул его огрызком огурца.

- Князь, а ты не боишься, что у тебя жена - тоже николаевская крестница!? - предположил, улыбаясь, Герка. - Что-то она у тебя странной масти. Все посмотрели на Таньку.

- Ты ее не пачкай, - Гришка все еще балансировал на словарях польского языка. - Выяснилось, что она теперь монархистка. Глядишь, и твоего дебила приставим к делу. Дадим ему министерство. Осилишь, Шахматов? Только где вы возьмете царя? - Гришка поскуливал от смеха.

- Жив законный наследник престола, - серьезно ответила Танечка Шахматова.

- Где же это он жив?

- Он жив в Испании.

- Так он же по-русски не умеет.

- Не волнуйся, сколько нужно он умеет. Думаю, что не хуже тебя.

- Они и раньше все были немцы, - задумчиво доложил из коридора Юрка Сорокин. - Пришлите кусочек торта.

- Ты играй, - недовольно проворчал ему Фимка. Фимка проигрывал уже семь рублей.

Ко мне никто не обращался, но я просилась обратно, как нашкодивший пес. Вовремя я остановилась с этим вендиспансером. Голову могу дать на отсечение, что сейчас

все про себя домысливают, сколько будет "не охвачено". Я сходила на кухню за ножом и стала делить торт. Три куса с вишенками - детям. Четвертую вишенку, так и быть, съем сама. Еще было двенадцать человек, и двое должны приехать. Кроме наших, в гостях был Гришкин брат из Архангельска, который собирался ехать вместе с нами на юг. Он сидел на спальнике и что-то выковыривал гвоздем из щели в полу. И Саня Ланской придерживал за джинсы свою новую пассию, близорукую девочку под толстым слоем ретуши, переводчицу из "Интуриста". В прошлый раз она легко развлекла компанию занимательной темой - наши молодцы все замерли, как камышовые коты, - историей потери, цитирую дословно, "foolish virginity". Ей дали в "Интуристе" группу, состоявшую из одного молодого "штатника", с которым она в номере очень невинно целовалась. Но оторвавшаяся бретелька от лифчика у нее была заколота английской булавкой, обнаруживать такой позор перед иностранцем не хотелось, и лифчик она малодушно сняла. И так далее. Разговор тогда шел о неожиданных поворотах судьбы, и иллюстрация получилась очень удачной.

Моралист Саня дотронулся до моей руки и показал, как Герка с этой Машенькой усаживаются в хромое кресло в углу, за шифоньером. Герка весит под сотню, и не с каждой девочкой его можно в одно кресло усадить. Девочка запрокинула голову, и Герка ей закладывал завиток за ушко. Мочка уха отсвечивала сочным поросычьим румянцем.

- Уводит прямо из стойла, - сказал Саня, ни к кому не обращаясь. - Дело молодое.

Дело, конечно, молодое - это он прав. Пора и мне было с Нестеровым заговорить. Я начала делать ему знаки, но он в мою сторону не поворачивался. Напряжение в комнате после еды немного спало, только Гришка с Шахматовым продолжали лениво доругиваться.

- ...И напрасно ты думаешь, что они там глупее тебя: и Суслов, и Андропов, и даже наш этот Романов. Неуправляемая страна. Никто ничего с ней не может сделать. У них, может быть, неинтеллигентные морды, но ...

- Жопы с ушами, - сказал Сорокин.

- Романов все-таки похож на человека, - засмеялась Санина переводчица, - когда он стоит на мавзолее, то я могу поверить, что он сейчас слезет и уйдет домой. У остальных такой вид, будто они там всегда живут.

Кит посмотрел на переводчицу и снова отвернулся. Все, что нужно, он уже увидел. Она сняла свитер и завязала ковбойку на плоском загорелом животе. Мне еще не пришло в голову узнать, как ее зовут.

- Людям нужно вернуть веру, - сказала Танечка Шахматова.

- Людям нужно жрать водку и плевать в канавы. Все, чего ты своим православием добьешься, - это что он еще больше будет винить жидов и кричать, что "я, бля, русский". Ты не забывай, - Гриша ткнул пальцем в лежащую на шкафу икону, - что Христос свое учение предназначал для одних евреев. "...Не кормят собак, пока дети не накормлены"!

- Этого нет!

- Этого есть. Ты невнимательно читала, и кто это вообще выдумал про русский народ - "богоносца и мессию"?

- Если есть, значит, это правильные слова, но я не могу понять еще, что это значит.

Гришка только руками всплеснул и, обращаясь к Ваське, пропел ужасным голосом, растягивая майку в стороны и нелепо пританцовывая: "П-а-ручик Г-а-ли-цын, г-а-товьте патроны, карнет Абаленский налейте вина. Прокакали Россию бесам, и теперь нужно на кого-нибудь свалить. Ну, Танька-то окончательно поглупела, ей уже снится, что таджики за завтраком говорят по-русски, но ты-то ведь понимаешь, что русских скоро всюду будут резать".

- Чего же ты не уезжаешь? - спросила Танечка удивительно сладко.

- Да брось ты меня на ворованной финской земле этим попрекать.

- Так я же за это воровство несу ответственность, а ты не хочешь.

- Конечно, не хочу.

- Чего же ты не едешь?

- Не хочу. Устроили международную торговлю евреями, и я не хочу в этом участвовать. Я - заложник.

Танька задумалась, а потом начала медленно выговаривать: "Тебе придется понять, что православие - самый глубокий и честный путь. Ты, как человек неверующий..."

- Я не неверующий. Прошу не путать. Я не верю, что Богу важно, двумя или тремя перстами ты себя крестишь.

- А кто же ты? Над иудаизмом ты смеешься...

- Попроси его раздеться! - тяжело сказал Кит.

- Все равно. Над иудаизмом ты смеешься, в Израиль ты не хочешь.

- Я ущербный агностик, - грустно сказал Гришка, - но в иудаизм я тоже не верю, он морально устарел.

Гришка потерял нить, недоуменно остановился и пошел к телефону. Звонили Киту. Гришка принес аппарат и поставил Киту на колени.

- Да... кто-то из них... зачем ты вообще туда потащилась?... не терпится?... Все молчали и его слушали.

Он еще продолжал говорить, но очень тихо, слов было не разобрать. Васька показал на него глазами и предположил: "Может быть, денег мало? Саня, похоже, что придется добавлять..."

- Вынешь с текущего счета, - послышалось из коридора.

- Вы понимаете, что я могу вынуть? Прямо сейчас, - ответил Ланской, - не для тебя морду растил.

- Да, Саня, если ты настоящий друг, теперь тебе не судьба уехать, - подморгнул ему Пази.

Саня и так не скоро соберется. Его пугает необходимость работать за границей на эмигрантских работах, и, кроме того, родной брат написал ему из Нью-Йорка, что "с этим очень плохо". А Саня говорит, что если ограничить себя эмансипированными эмигрантками из Черновиц, то у него могут развиваться комплексы. Но упоминание о его деньгах Саню развеселило, и он достал из портмоне свою бритоголовую фотографию из старого паспорта по справке, с которым его брали на работу только на овощные базы, и торжественно поднял ее над головой.

- Ланской на свободе! Вы должны обратить внимание, что все сколько-нибудь уважаемые люди провели часть своей жизни в заключении. Если трахать школьниц на халяву, то теряется половина прелести.

Бедная Машенька! Она не очень внимательно слушала, но я все-таки пнула Ланского ногой. Скажет тоже, "прелести".

- Но, может быть, подойти к делу с другой стороны... - сказал Ланской.

- Да, - сказал Герка, - может, подойти к делу с другой стороны, может быть. Киту и Машеньке Решетниковой расписаться. Ведь по самым гуманным в мире законам не является преступлением сожительство с собственной...

- И с не собственной, - пророкотал Ланской.

- На ком ваш Кит еще не расписался? - сдержанно хмыкнула девочка из Интуриста.

- Каждому овощу свое время, - назидательно шепнул ей Саня.

"Что ты ей шепчешь?" - спросил Герка, он тоже слышал. Мне нравится в Герке, что он ничего не пропускает.

- Да у Кита такое паблисити, что у моей девушки начинается...

Машенька сидела пунцовая. Герка и Ланской шептались за моей спиной, и у меня тоже вспыхнули уши.

- Кит же не бабник, он большой целитель душ! - поулыбался Герка и громко продолжал: - У меня есть знакомые в Кировском загсе - за четвертак их запишут за два часа.

Я как-то не учла, что Кит и Ася могут быть не зарегистрированы. Интересно, как у них записана дочка. Может, мне "по честному" выйти замуж за Кита? Новый поворот. На секунду голоса стихли, и из соседней комнаты высунулся Гришкин сын Сева. Я могу дать руку на отсечение, что сидит под дверью и подслушивает.

- Это правда, что вы Дашу с собой не берете?

- Дуй отсюда, узнаешь все у Даши. Иди лучше с сестрами прогуляйся.

- "Темная ночь"... - запел он со значением. На улице, действительно, уже стемнело. Начались неожиданные провалы времени.

- Ты за луну или за солнце? - спросила меня конопатая Севкина сестра. - За солнце - за пузатого японца, за луну - за советскую страну.

- Яня, - недовольно сказала ей Леночка, - ты про солнце уже пятнадцатого человека спрашиваешь.

Прошло полчаса, пока Нестеров понял, что я ему делаю знаки. Уже все заметили. Непонятно, от кого уже было скрываться. Я поднялась по ступенечкам в мансарду, и через несколько минут он ко мне демонстративно постучался и так же демонстративно щелкнул английским замком.

- Чем обязаны такому вашему вниманию?

- Иди к черту, хватит кривляться. Ты был сегодня дома?

- Нет, я ночевал...

- Мне неважно, где ты ночевал. А что, тебе Шахматов разве ничего не сказал?

- Да или нет?

Нестеров многозначительно поднял глаза к потолку и развел руками.

- Иди хоть поцелуемся.

- Полная квартира людей... Это тебе Аська звонила? Что она говорит?

- Легла на амбразуру. Александр Матросов!

- Ты о чем? Ну, что ты молчишь как истукан?

- Именно об этом. Ты все очень правильно угадала.

- Врешь, не может этого быть. Ты сумасшедший! Ты так думаешь, потому что я сказала? Меня Герка сорвал, и я молола чепуху. Я уже ничего не помню. Но ты же не знаешь главного! Что у тебя опечатана квартира!

Кто-то повернул ручку двери, а потом стал ее раскачивать и сильно дергать.

- Кто там?

- Анночка, это я.

О Боже, опять принесла его нелегкая! За дверью чувствовалось волнение и шум. Замок поддался и вылетел из стены с шурупами под рев и улюлюканье: кроме Алешки в комнату рвалось два карнавальных медведя с оскаленными гуттаперчевыми мордами. Они хватали Алешку снизу за ноги и орали: "Отдайте женщину снов!" Алешка озлобленно отбивался каблуками. Наконец он вошел, совершенно белый от злости. "Лучше бы они в шахматы играли!" - сказал он.

Тут я вспомнила, что ни одного раза не слышала, чтобы Алешка разговаривал с Китом или даже к нему вслух обращался. Мы с Китом стояли и терпеливо ждали. Или он хочет говорить через переводчика? Сорокин и Пази все еще лежали на пороге и рычали, по краям масок сверкали отвратительные белые клыки. Я тоже играла в школьном драмкружке, но тогда не было таких масок.

- Что тебе от нее нужно? - глухо спросил Алешка.

Кит неожиданно в ответ очень весело и легко рассмеялся. -

Все, до чего ты дотрагиваешься, превращается в грязь. Кит ждал, что последует дальше: Алешка снял со стены подкову, но ничего с ней не сделал - ни разогнул, ничего - только вытер пыль и повесил обратно на гвоздь. Они оба стали мне удивительно противны. Я начала бочком подбираться к двери.

- Если ты до нее пальцем дотронешься, я тебя выброшу в окно.

- Это было бы даже интересно, - вежливо ответил Нестеров.

Я увидела, что народ стоит в прихожей, и услышала Любкин голос. Значит, они приехали.

Глава четырнадцатая ОТ БОРИСА

Чего бы я сейчас хотел? Помыться и поспать. На лбу можно писать "миру - мир". Пыль. И мозг в пыли. Но сейчас не заснуть. И мы привыкли не спать. В первую неделю войны я больше часа подряд не спал ни разу. Вот опять.

МАТРАЦ - О-ЛЯ-ЛЯ-БАТАРЕЯ, ЦЕЛЬ.

Матрац, о-ля-ля - так поднимают меня. И так поднимаю я.

Сейчас уже не до разговоров. И думать ни о чем не получается.

Противотанковыми. 557 - это тип детонатора. М9 - значит далеко. Это тринитротолуол, и, значит, далеко. 33203 - пушка по горизонтали. Третья пушка, центральная. По ней я веду расчет. Высота пушки - 329. Первый вместе. Остальные в максимальном темпе. Значит, три минуты стрельбы. Бесейдер. Приготовить двенадцать на три минуты. Американцы говорят: плэй бек ордер - повторяю. Сейчас я еще должен на руках проверить данные компьютера. Главное - это угол. Чтобы расхождение не было очень грубым, 3-я пушка - 33203. Вторая - 33206. Четвертая пушка - зажат ударник. Первая готова на цель. Третья - готова на цель. Шестая готова на цель. Готов

тремя. Пятая - готова на цель. Четвертая - зажат ударник. Давид, сбегай в четвертую. Готов пятью, четвертая не стреляет. Мне нужны все. Ну что, четверка? Не получается. Готов пятью. Мне нужна вся батарея. У меня нет четвертой пушки. Ждем. Четверка? Не получается. У меня нет четвертой пушки. Готовься к обратному счету. Хамеш - хамеш, арба - арба, шалош - шалош, штайм - штайм, ахат - ахат. ЭШ. Огонь. Все-таки к этому нельзя привыкнуть. К счастью, я стал хуже слышать. В моей телеге звук приглушен, но тоже его хватает. Первая - отстрелялся, пушка пустая. Третья - отстрелялся. Гимель - отстрелялся. Спасибо. Цель уничтожена, понадобитесь через два часа.

Два часа отдыха. Уже несколько часов постреливаем. Долгожданный, заслуженный мир: только встали, нас сразу начали дергать. После восьми часов пути. От сирийцев сейчас километра четыре, но я не знаю, куда мы стреляем. За двое суток спал два часа. И еще час прихватил в бронетранспортере. Я люблю спать в каске - не думаешь, куда голову приткнуть.

Вот под этой трубой и помоемся. Темно. Я даже не заметил, как поле опустело. Семья ливанцев собирала спелые помидоры - у нас тут как драка в кабаке: кружки летят, а кто-то жмет к стеночке и пытается поужинать. Нет, нет. Мне не нужно поливать. Тода. Я люблю все делать сам. Пока сирийцы пристреляются, мы еще успеем поставить душ. Мне тут рядом еще две позиции вымерены. Стреляют сирийцы средне, не так, как мехаблим, - те лупят в белый свет, но рано или поздно сирийцы меня отсюда поднимут, хоть стою я очень хорошо. За холмом и каменной насыпью. И в яблоневоm саду. Яблоки еще кислые. Бекато Леванон, Ливанская долина, начало Северо-Африканского разлома. Прошли сегодня по ущельям городков двадцать. Выше, выше, выше, пылью все заволочло - и потом такой вид. Справа озеро плоское - кленовый лист, у шоссе

пылают два здания, а остальное все - тетрадь в клеточку, лоскутное одеяло - разноцветные поля с каменными изгородями. Рай. Похоже на Баксаны. Я не помню, были ли там лягушки. Таких зеленых я не видел с детства. Ливанское корыто - по плоским стенкам ютятся городишки, за шоссе поля, сады и плохие сирийцы, а перед шоссе поля, сады и хорошие мы. А хоть бы и плохие. Мне все равно. Мы любим быть хорошими в чужих глазах, а нужно называть вещи своими именами: исторических прав на землю нет, не существует. Если бы они были, то все люди на свете давно бы друг друга перерезали. С чувством долга. Я сегодня полдня стоял за браунингом, и господа ливанцы смотрели на меня со всех балконов, и что я - агрессор, хоть и вынужденный, ни у меня, ни у них сомнения не вызывало, но дело в том, что мы слишком глубоко здесь увязли. Сегодня они смотрят с балконов, а завтра...

МАТРАЦ - О-ЛЯ-ЛЯ. БАТАРЕЯ - ЦЕЛЬ. 239279 108931. Высота 211 метров. Гимель. Пять кругов. 2 фугасных, 2 осколочных и один зажигательный для коррекции. Теперь это все пойдет на компьютер. И он еще просчитает на каждую пушку. Это уже по пехоте.

Матрац - о-ля-ля. Батарея - цель. Собственно, мне сейчас делать нечего. Только следить. Сержант с вездеходами что-то финтит. Дождался темноты. Делает вид, что работает, как сто китайцев. Ему до дембеля месяц, так он совсем распустился: три часа гусеницу не может на место поставить. Потихонечку. Кадима. Ахора. Назад. Вперед. Еще вперед. Ага, вот давай я стукну. Как же это по-русски? Алик, как большой молоток по-русски? Сам ты молот. Пацаненок из Казатина. Беда с этими вездеходами. У американцев за батареей еще по пять машин ездит, а мы единственный вездеход до отказа грузим, вот гусеницы и слетают. Дай, я еще раз сам ударю. Ты же здоровый, как бугай. Ладно, вози так. Тринитротолуола - сто

футляров, и снарядов пять сортов. А стеночка как картон - одного осколка хватит, костей будет не собрать. Сейчас стреляет только третья пушка. Уже второй снаряд куда-то в сторону заложили, Давид, нужно ТНТ проверить. Восьмой вместо девятого. Вот тебе эти двести метров ближе. Облажались. Первая батарея уже прохаживается, что опять нам двух снарядов мало. Ури, заткни их. Сделай рацию потише. Что там? Прекратить огонь. Одна не выстрелила. Сейчас будет мороки вытаскивать. Для стрельбы этот снаряд уже не годится.

Еще один день прошел. Спешить мне некуда. Такая древняя специальность, называется - "военный". Снарядный ящик под спину и спальник. Как крестьяне. Возвращаешься пару раз в месяц домой, и хочется блевать: еще идет война, а они там уже живут дальше. Военных на дорогах подвозить стали хуже - это главный барометр. Подобрал вчера девчоночку-солдатку на шоссе - она простояла сорок минут, никто не брал. Заснула у меня на плече. Пилотка под погоном, кудри до плеч рыжие - мечта! Я устал от умных женщин. Надо жениться на американке, самый будет благоразумный шаг. Если женишься на американке, то тебе даже простят, что ты из России. Тут же не один - тут десять Храмов можно разрушить, все равно кроме денег никто ни о чем не хочет слышать. Дай волю, половина в Америку убежит. Они же не евреи. Они САБРЫ! Это первое поколение людей, которые больше не евреи. Глаза спокойные. Дело не в обрезании - хоть... руби на "пятаки" - дело в глазах. Так он гусеницу и не сделал. Мудак безрукий. Выложи ее на землю, второй пусть держит сверху, а ты накатывайся. При фонарях, раздолбай, еще до утра будут возиться.

Обленились на фронте - здесь я их меньше шпыняю. Но они неплохие мальчишки. Вид залихватский, все в черных очках, амулеты на шее. У меня тоже такой, и еще один в сапоге -

личные номера, чтобы меня смогли опознать армейские раввины. Настоящий Израиль - это не Израиль. Настоящий Израиль - это наша армия.

Остальное все плесень. У нас военный министр, который любит воевать. Всем голову задурит, чтобы ему дали повоевать лишний час. Может быть, и я тоже люблю. Надо в себе покопаться. Искушение, которому трудно противиться. Я говорю о русских. Это, наверное, преследует каждого боксера, который весит шестьдесят килограммов, - нокаутировать тяжеловеса. Но им здесь нечего ловить. Я заезжал к своим раненым - у них в госпитале лежат три русских летчика. Молчат, партизаны, "испанцы" сраные, говорят по-английски с челябинским акцентом и требуют представителей Красного Креста. Красиво мы их отсюда вычистили! 85 самолетов на один наш учебный. Может быть, сегодня ночью поспим. Ури, предупреди часовых, чтобы по кабанам ночью не стреляли. Их легко отличить, шорох резче. Но не промахнитесь: по этой дороге мехаблим уходят на соединение с сирийцами. Ночью даже скучно, если нет стрельбы. Я не люблю лежать и думать. О чем думать? Не о чем.

Пора уже лечь с кем-нибудь в постель. Тут неплохие бабешки были - даром что ливанки. Ноги только все бреют. Ури, чем твоя девчонка бреет ноги? Филлипсом? Даже вопрос никого не удивляет. В Союзе меня с бритой бабой в постель было бы не уложить. Звонят. Каждый час колокольный звон. За стрельбой было не слышно. Когда меня харьковский "Политех" выпускал лейтенантом запаса, я смеялся. Я зря смеялся. Я всегда был военным: я реально смотрю на вещи.

Надеяться на мир с арабами смешно. С другой стороны, я не сентиментален, я не придаю личности слишком большого значения. Идут процессы выше нашего понимания - до них не нужно докапываться, даже вредно. В вашем доме прячутся бандиты - тем хуже для вас, надо было думать раньше. При

чем тут жалость? Из-за жалости нельзя позволить поливать свои города "Катюшами". И нужно найти свое место и делать, что от тебя требуется. Думаете, мне здесь лучше, чем в Союзе? Мне везде было нормально. За мной не бегали и не кричали, что я "жид". За мной много не побегаешь. У меня даже тесть, извините, русский. Бывший тесть. Так чего я сюда приехал? Я не знаю. Может быть, я родился, чтобы спать на этих снарядных ящиках. "Абалаковский" рюкзак под голову. Это мое "имущество". Хорошо его Виталий Михайлович придумал. Немного устарел, но я с трудом отказываюсь от своих привычек.

Завтра, Давид, все завтра. Махар. Народу мало, треть я перед шабатом отпустил домой, завтра будут возвращаться. Засыпаю. Кувалда. Не молот, а кувалда. Забываю язык. И не хочу его помнить. Все свое я России отдал. Хватит. Кончил смену - хер в стену.

Глава пятнадцатая

ОТ АННЫ

Любка и Ася стояли в прихожей и странно посмеивались. Что я должна была заметить? Подходить было страшно. Я не верила Нестерову ни на грош. Но, конечно, было очень странно, что они там напились. Я раньше никогда не видела Аську пьяной.

- Все-таки мы не 'гешились с'гывать су'ггуч.

Кит проскрежетал зубами и обернулся. Мне казалось, что никто, кроме меня, не понимал, о чем шла речь.

- Будет сегодня шутить, - сказал Кит. - Волкова уже попалась, эти две - попались, кто это сделал?

Не очень-то Ася была пьяной: она все слышала и коварно на меня посмотрела. И я на нее.

Один из медведей за шахматной доской начал корчиться от

смеха и лупить себя по бокам. Я начала понимать происходящее. Выходит, что в идиотках опять оказалась одна я.

Все-таки слова Кита не давали мне покоя. Мне не было дела до Любкиных романов и связей, но ничего хорошего я от них не ждала. Когда она училась в студии ТЮЗа, я видела двух ее мужей, один из них сейчас преуспевал на Ленфильме. Это такая специальная порода киногероев с раздвоенными подбородками, похожих на официантов. И еще на следователей. И к кому из этой своей райкомовской сволочи она водила Аську, можно было только догадываться. Что я должна была заметить? Она и утром выглядела подозрительно, а тем более полупьяной. Ничего нового не появилось: не было неточно застегнутых пуговиц, второпях перекрученной юбки - никаких "шивогот - навывогот" и "квегх ногами". Правда, были размазаны глаза, да мало ли когда размазываются глаза, невидаль...

Любка смотрела на Асю со своей сучьей преданностью. Мне мешало, что я постоянно чувствовала Алешкино напряжение за спиной, он держал меня за локоть и впивался пальцами до боли. В первый раз я даже не услышала, а только почувствовала выдох, потом он сказал вполголоса, и уверенность каждый раз крепла: "Ты и Кит. Я все понял. Ты и Кит, что, не так?!" - каждый раз все громче, наконец, стало слышно всем - и образовалась абсолютная тишина.

"Вы знаете, Ася, что она и Кит..." - "Мне это не мешает", - отрезала Аська, не оборачиваясь.

Несильно она была пьяной, а изображала из себя черте что, еле держалась на ногах. Но ответила мгновенно, как сидела с готовым ответом.

- Собирайся, - взревел Алешка, - мы отсюда уходим!

- Мы отсюда никуда не уходим, уходишь только ты! - Я грубо захохотала, так, что резануло в горле.

- Раз, два, три! - Ты еще очень сильно расквесишься в этом, ты еще очень-очень пожалеешь. Отольется, ох, отольется!...-он в последний раз, до крови, сжал мне пальцами руку и неожиданно бросил ее так, что я ударилась ладонью об острый угол, но он даже не взглянул. Обвел всех ненавидящим взглядом и вышел.

Я сразу же почувствовала себя свободнее. Пази все еще продолжал хохотать, приглашая и других поучаствовать в его триумфе. Васька тоже посмеивался. Я наступила ему на ногу: "Я у тебя просила защиты, все тебе откровенно рассказала, а ты глумишься!" "Тебя никто не просил откровенничать", - буркнул Шахматов, но смеяться перестал, отвернулся и стал оценивать на шахматной доске позицию белых.

- Но там же был милиционер! - вдруг вспомнила я. Мне даже никто не ответил. Только медведь-Пази развел руками сквозь смех, дескать, мало ли милиционеров.

- Ну, был какой-то посторонний милиционер... Может, он там живет или в гости приходил к своей бабе...

Фимка сдернул маску и забросил ее наверх, на развесистые олени рога на стене, туда, где качался Любкин зонтик. Лицо его еще несколько секунд сохраняло форму маски, но он повертел головой, и оно расправилось. Любка тем временем съезжала по стене на пол, хихикая. Ей совершенно нельзя пить, она пьянеет от наперстка. Это не очень профессионально для актрисы.

Сейчас начнутся концерты - будет бить стекла и лезть исповедоваться. Любка хихикала и продолжала бормотать.

- Он теперь сделает все, что мы попросим... Знаешь, Нестеров, отведи-ка ты меня в ванную... А я люблю военных...
- ни с того ни с сего очень чисто пропела она и добавила басом: - ...военные душки... - и закашлялась.

- Дай ей по щекам! - предложил Шахматов. Ася снова подняла глаза и очень коротко на него посмотрела. Шахматов

спасовал и отвернулся.

Кит с отвращением взял Любку под руки и поволок в ванную, ноги в сапожках волочились у нее по полу, ей было очень весело и радостно представляться. Ася проводила их глазами и сказала Гришке, сквозь зубы и очень зло: "Сделать-то он, конечно, тепе'ть сделает, что может. Машенькину маму уже п'типугнули, что за дачу ложных показаний ее посадят..."

- Ну, слава Богу! - сказал Гришка.

- Что вообще представляет из себя эта Машенькина мама? - Какая-то климактеричка...

- Теперь нужно как следует напиться и Нестерова напоить - за счастливое освобождение!

Какое счастье! Все пляшут и поют! Никто никого больше не изнасиловал! Я увидела, что Ася продолжает что-то зло шептать на ухо Липовецкому, и прислушалась.

- ...деньги взял, но очень ст'ганно себя ведет. Что-то недоговаривает. Говорит, что сделает все, что в его силах, но он тоже не Бог. И на что-то намекает. Говорит, что есть еще данные, которые он блокировать не сможет. Фигу'ги-гует какая-то А'гина Левич. Или заявление от нее. Спрашивает, не знаю ли я такую фамилию, и посмеивается. Деньги, сволочь, взял. Ему, в основном, моя кожа понравилась...

- Левич или Ревич? Неужели Ревич? - у Доральда была сестра Арина. Я рассмеялась и даже присвистнула. - Вспомнили! Арина Ревич умерла лет десять назад, Аська ее в глаза не видела, еще маленькой девочкой, от чего-то, типа лейкоза. Она совсем была маленькая девочка - лет тринадцать, даже для наших "бойцов" это возраст малоинтересный.

- Иди, звони Доральду, - сказал мне Гришка, я с недоумением на него смотрела.

- Доральд? Он никогда...

- Иди, звони!

Я с раздражением встала. Не знаю, как могла всплыть Арина

Ревич, если это вообще о ней речь, но это не Доральд.

- Киту пока не говори, чтобы он не бесновался.

Первый раз было занято, а потом я сразу наткнулась на Доральда. Он очень обрадовался моему звонку. И поскуchnел, когда понял, что я звоню по чужой просьбе. Но приехать обещал. Это еще ждать час. Я вспомнила, что Лена просила меня дошить штормовки, снова поднялась наверх, в мансарду, и села за "Зингер". Фельдшерица на "скорой", с которой я часто дежурила, правильно мне говорила, что женщине нельзя учиться шить, "как начнете, так и будете всю жизнь шить". Но меня никто не учил. Я всегда умела шить лучше мамы, еще даже когда домоводства в школе не было. Мама у меня, в основном, в высшем смысле - "строчит пулеметчик про синий платочек, что был на плечах дорогих"... - шить моя мама не умеет. Умеет она про "отзовистов" и "ликвидаторов". В жизни это никому понадобится не может. Так-так... Зря я "реглан" сделала: возни много, а "плечи дорогие" получились очень покатыми. А из наших мужчин нужно лепить героев, а то они все выглядят как сыновья матерей-одиночек. Ответчики за Россию: придумывают себе наглый лубок, в который немедленно начинают верить. Ленка Арьев притащил к нам вчера огромную банку, "ивасипряного посола", и начал ее папиным кортиком открывать, приговаривая: "Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи" - а у самого руки от нетерпения дрожат. Очень на них папин кортик действует. "И красная кровь не нужна ли республике или королю?" Жалко, что у них никакого выхода нет - только играть в покер и приставать к чужим женам.

Хорошо здесь, мне такой мансарды не хватает в доме, чтобы можно было от всех скрыться. У ребят это тоже единственное человеческое место в квартире. Гришка выложил пол грубыми овчинами, зимой окна леденеют, а от струганных деревянных стен, от развешанных пучков каких-то лечебных трав, от

чесночных кос, от ниток белых грибов по углам, от ожерелий окаменевших баранок идет сухое ароматное тепло.

В комнате о чем-то еще спорили, но мне даже слушать не хотелось. Аська стояла напротив приоткрытой двери - я вертела машину вхолостую и ее разглядывала. Она замерла у стены, готовая в любую минуту исчезнуть... Узкая щиколотка под прямой фланелевой юбкой. Блузка "на размахечку" с торчащими ключицами. Непонятно, как эти ключицы совмещались с такой нарядной грудью. Подчеркнутая симметрия тела: широко расставленная грудь, широко расставленные зеленые глаза, всклокоченные пепельные кудри и удавочка турецкой бирюзы на открытой шее. Я не видела слабых мест. И только горький ореол вокруг губ вместе со щелью между передними зубами производили эффект какого-то скомканного сладострастия. Живешь себе, живешь, а на тебя припасена такая Асенька - и вся жизнь летит в тартарары. А теперь ты пытаешься объективно к ней относиться. Пора было вшивать молнии. Кто-то их купил поразительного цвета, наверное, в отделе белья для девушек, еще одна какая-то подводная шутка. Мимо двери прошел Герка, я его окликнула: "Герушка, в куче барахла есть сетка с бутылками, налей мне чего-нибудь. Там должна быть рябина на коньяке"...

Коньяк нехорошо ударил в голову. Мне было скучно жить и страшно в себя заглядывать. Что мне эта Ася? Не Ася - так другая. Просто я думала, что я спрячусь за Андреем от жизни. А он не спрятал и сказал: "Живи сама". Сама. А саму меня утягивало обратно, в бездну.

Я легла на овчину и вытянулась. Подкова, которую снимал Алеша, повисла криво. Кривое счастье... Надо спросить у Гришки, где он достал подкову... Было трудно привыкнуть к тому, что всю Гришкину квартиру заволокли доставшиеся по случаю доски, брусы, фланцы, куски дверей, плинтуса и листы фанеры. Все это было свалено вдоль стен, и из этого хлама

Гришка собирался превратить квартиру в сказочный дворец. Но эта творческая напасть случалась с ним редко, обычно после ссор, когда жизнь становилась невыносимой и Лена с детьми отправлялась ночевать к знакомым. Тогда Гришка переставал убираться и подметать, начинал искать растерянные струбины и рубанки. Пол по колено покрывался радостными стружками, но доски, свежей, как деревенская свадьба, хватало, чтобы обить очередную треть стены, и это настраивало Гришку на возвышенный лад. Лена, возвращающаяся мириться, обычно заставляла его за беседой о жизни в лесу, о занятиях сельскими ремеслами, ульях - и еще недели две дети играли стружками в "Новый год", а Лена ходила, зажмурившись, стружки деликатно не убирая, чтобы Гришке не померещился укор. Я постепенно засыпала.

Глава шестнадцатая ОТ АННЫ

Мне снилось что-то хорошее, но я совершенно не помню - что. В мансарде было совсем тихо. и я решила, что все разошлись. Но потом я почувствовала, что рядом кто-то сидит и гладит меня по голове. Очень нежно. Как мама.

- Нестеров, это ты?

- Проснись, пожалуйста.

- Что-нибудь случилось?

- Пришли Ревичи, и Трубачев их там травит. Выйди к ним, я не хочу встречаться с Веркой.

- Да, да, я встаю.

Я считаюсь специалистом по Доральду.

- Слушай, Нестеров, а кто дал три тысячи?

- Саня.

- Китушка, я все думаю, может быть, Аське не пришлось бы туда ездить и все такое. Если бы я, ну, ты понимаешь. Если бы

я сразу все заявила?

- При чем здесь ты? Она же в восторге. Это самый сладкий момент в ее жизни. Она и не мечтала, что можно будет меня так взять за горло. Встань, пожалуйста! И сделай что-нибудь, чтобы Герка замолчал, а то больно это слышать.

Кит остался в мансарде, а я толкнула дверь носком и посмотрела вниз одним глазом. Верка и Доральд сидели на стульях, а остальные действующие лица в разнообразных позах расположились на спальнях мешках и на полу. Кто курил, а кто дремал. Сорока держал на коленях чемодан и гонял сам с собой в "гусарика". Пора было проморгаться и выходить.

- Не смотрите на меня, я пойду умоюсь.

На пороге ванной комнаты меня встретил Гришкин брат в теплой полосатой пижаме. Из-за его спины поднимались клубы горячего пара.

- Слушай, ты не могла бы мне достать крем "Вималан"?

- Я узнаю.

- Если будешь покупать, возьми сразу бутылок двенадцать, меня еще на работе просили. Чего-то вы сегодня расшумелись.

- Давай, вали отсюда, дай мне умыться!

- Только ты не забудь!

Не забуду. Я взглянула на себя в зеркало, ну и чучело, еще бы - полдня проспать. И я очень во сне замерзла. Сейчас бы залезть в горячую ванну и сидеть там, пока все не разойдутся. Все-таки я, поеживаясь, как кошка в дождь, поджимая передние лапы, вернулась в парадную залу и примостилась на штабеле досок, рядом с Сорокиным. Сорока тасовал одной рукой атласную колоду и отчаянно уламывал Мару: "Сдавать будешь только ты", - приговаривал он.

Герка все еще сидел за шифоньером, но Машенька переместилась к нему на колени и очень угловато и неловко перебирала его бороду. Герка сидел красный и

разглагольствовал о хоккее. Наверное, проходил какой-то турнир, потому что крик на лестницах всю неделю стоял ужасный. Но дело в том, что Доральд никогда хоккей не смотрит. И Герка тоже никогда хоккей не смотрит. Герка его просто дразнит. Или дразнит Верку, у него никогда не поймешь. Доральд - я видела только выпрямленную, одеревеневшую спину - кивал.

- Фирсову палец кое-куда не клади, сразу накажет, - мямлил Герка.

- Окстись, Фирсов уже умер, - фыркнул Сорокин.

Очень содержательный разговор. "Три корнера - пендель". Умер какой-то неведомый Фирсов, которому не нужно в рот класть палец. Хоть бы Герка унялся. Кит наверху, в мансарде, насвистывал "город детства" и тихонько себе наигрывал. "Где-то есть город тихий, как сон, где-то есть город, тихий, как сон". Где-то есть город. Это моя песня.

Шахматов и Гришка хихикали на диване. Когда я проходила мимо, Гришка подергал меня за юбку, дескать, пора говорить с Доральдом. Но Герка опять завел свою канитель: "Дорик, а как йога? Вы на этой йоге все помешались. Тантрайога - это я еще понимаю, - он показал рукой на мансарду, - хоть есть какая-то цель, но все равно ведь всех не перебреешь. Это правда, кстати, что нельзя есть говядину? Очень странно. А как же без мясного? Верочка, ты скажи, ведь ноги протянешь!"

Верочка поцокала языком и послала ему воздушный поцелуй. Верочка была в свое время замужем и за Китом, и за Геркой. Она знает, "как без мясного". Вера сегодня неважно выглядела. У нее бывает два состояния, без промежуточных, урод или красавица. Ее дочке семнадцать лет. Скоро будет бабушкой. И Нестеров, кстати, дедушкой. Дедушка, сидящий в тюрьме за разврат малолетних, - это просто позор, а не любовник. Никому не похвастаешься. Я все еще сидела молча, только кивнула Доральду, и он мне не очень приветливо

ответил. Гришка снова подергал меня за юбку.

- Доральд, - выдавила я из себя неискренним голосом, - нам очень важно знать, зачем тебя вызывали.

Доральд и Верка переглянулись.

- Вам это лучше знать, - сказала Верка, - мы с этим человеком не хотим иметь ничего общего. Мы за его жизнь, за его романы...

- Это твой бывший муж, - засмеялся Шахматов.

- ...и за его многочисленных детей ответственности не несем.

- У тебя же тоже от него дочка.

- В каком смысле "тоже"? - презрительно процедила Верка, озираясь на Любашу. Та свернулась калачиком на спальнике и тихонечко во сне храпела.

- Прикрой ее кофтой, пьяная Снегурочка.

- Отличный сюжет для мультфильма: Снегурочка, сильно пьет...

- Живет с Дедом Морозом.

- Это тривиально. Живет с другой Снегурочкой.

Доральд болезненно поморщился, поднял голову и, не глядя на меня, начал отвечать на мой вопрос.

Ничего нового Доральд не рассказал. То, что и так все прекрасно знали: про две лекции, которые он читал в группе Кита, и про оплату этих лекций, и все такое. Никто его не слушал - только рассматривали. А Гришка и Шахматов на диване зажмурили глаза и одинаково смотрели непонятно куда - то ли на Доральда, то ли на лампочку.

Я не могу точно сказать, когда человек врет. Я вообще не верю, что религиозный человек в состоянии врать. Про себя я считаю, что в глубине души я глубоко аморальна. Но я не верю, что другие люди могут быть такими же.

В глаза Доральд не смотрел, и все время казалось, что он чего-то не договаривает. Но это могло быть и просто его манерой. Его сильно все не любят. То шагу без него не могли

ступить, теперь за что-то презирают. То ли за то, что глаз пустой, то ли он какой-то слишком вымытый. У меня к слишком большой чистоте появляется брезгливое чувство. Зря они его сюда притащили, еще слава Богу, если выяснится, что ошиблись. Попробуй, скажи человеку в лицо, что он врет... Начнешь ловить, лучше бы и не поймать, а то будет только хуже. Стыднее всего поймать. Что они будут делать дальше? Поймать и презреть! Как я не люблю эти публичные разбирательства, кто бы знал. Расселись вокруг Верки и Доральда, как волки, сейчас начнут рвать на части. Какой стыд! Но, думаете, если сейчас выяснится, что они ошиблись, всем будет стыдно смотреть в глаза? Как бы не так... И рвать на части не станут. Абсолютно всем все равно. Если еще Гришку связать и заткнуть ему рот, то будет полный покой. Им главное - доказать, что вот они - религиозные, а доносчики, а мы не религиозные, но такой сторож в голове, что всем на удивление. А эти два не от мира сего крохобора тоже начинают торговаться, "про деньги не сказали - сказали - не сказали", какие к черту деньги, три рубля там было за эти лекции.

- О девочках тебя...

- Поступила информация, что на Кита написан донос. - Герка испугался, что его опередят, и заторопился снять пенки. - Мы тут прикинули, думаем - Дорик, больше некому. - Развели бардак и теперь ищите виноватых! - завопила

Верка "бабушка". Она уже от бешенства вся ходила ходуном и изгибалась.

- Поменьше страсти, - подняла голову Ася.

Веркин голос действовал ей на нервы. Ася сидела на полу рядом с Любашей и пыталась привести ее в чувство.

- О девочках тебя не спрашивали? - грубо повторил Васька.

- О сест'ге? - негромко спросила Ася.

Верка с удивлением оглянулась на Доральда, видно было,

что она не понимает, о чем идет речь.

Доральд съежился, враждебность к нему пропала, и интереса ни у кого он больше не вызывал. Он посмотрел на всех как на заразных больных, поднялся и вдруг направился к выходу. Но ему было не пройти. Все сидели с очень удовлетворенным видом. Один Ланской опустился на четвереньки и загораживал Доральду дорогу: он согнулся на рыжем собачьем спальнике и с горящими глазами пытался разбудить Любку. Саня дул ей под колени, а Пази соломинкой щекотал пятки. Любка, довольная, во сне мычала. Ланской стоял прямо перед Ревичами в очень напряженной и корявой позе. За тем, что Ревичи собираются уходить, внимательно следила только Танечка Шахматова.

- Верка, садись верхом на Саню, он тебя довезет до двери! Значит, следил и Пази.

Верка позеленела от бешенства, Доральд примирительно постучал по ее руке и даже отодвинул ее в сторону, чтобы она случайно на Саню не села.

- Вы можете хоть одну секунду не шутить, - торопясь, выговорила Танечка Шахматова, - минуту, пять минут. Они уйдут, а его посадят... Пожалуйста, вы можете не шутить? Хорошего не получается, так сразу топить? Вы меня одну секунду послушайте, и сразу все поймете. Наши души ходят по свету и ищут свои половинки. И, конечно, нельзя трогать чужие половинки. Но Кит же всех любит. Это же все знают. И Верка знает. Мы все под стеклянными колпаками - никто никого не слышит!

- Нам ничего не нужно слышать, - сказал Доральд, - достаточно...

- ...того, что мы видим! - прокричала Верка, закончив его фразу.

- Не ори, дети спят, - сказал князь.

- Дети! Детей у вас нужно отобрать! По детским домам!

Вспомнили! Дети! Устраивать вертеп дети вам не мешают! От кого эти дети?!

- Не суди! - сказала бледная Танечка Шахматова.

Она пыталась не заплакать, но глаза ее уже предательски поблескивали. Этого Шахматов не мог перенести. Он взвалил жену на плечи и потащил на кухню. "Васька,пусти, у меня порван чулок!" Опять все засмеялись, даже Верка. Шахматов отнес жену на кухню и начал подтягиваться в дверном проеме.

"Васька, с сегодняшнего дня ищущи себе половинку, предлагаю искать на пару," - сказал Ланской. Васька со смешком свалился с косяка: "Тебе, Саня, нужно было вместе с Волковой в гинекологи податься. Представляешь, приходишь с мороза..."

Верка потащила Доральда к выходу:

- Вот вся ваша жизнь, - выкрикивала она по дороге, - самки! Я представляю, что так же выглядела эта группа, за которую его судят. Профанация йоги!..

- Хочешь, я тебе тоже подую, - сказал с пола Ланской.

В этот момент проснулась Любка и сказала раздельно: "Раздень меня", - непонятно к кому обращаясь. Аська закрыла ей рот рукой. Доральд и Верка были уже в прихожей. Им навстречу раздался коротенький деликатный звонок. Гришка пошел открывать. Я с беспокойством прислушивалась к тому, кто пришел: окончательно объясняться с Алешкой я бы предпочла в своем собственном доме. Это был не Алешка. Это была моя мама. Я проверила, на месте ли моя одежда. Все было на месте. Надо сказать, что в соседнем доме живет мамина двоюродная сестра, и мама, когда она там в гостях, часто забегает к Липовецким, пытаюсь встретить меня или Дашку.

Нужно было к ней подойти, но мне было не сдвинуться с места.

- Как я рада, что никого не разбудила. Я вижу, свет горит...

Анночка, сейчас меня проводишь? А что, Алешеньки нет? - кричала она мне, цепко схватив за руки Доральда и Верку. - Никуда не отпущу! Вы хоть пять минут можете со мной побыть? Двести-триста лет вас обоих не видела! Как работа, как девочка, расскажите хоть что-нибудь. Верочка, мама-то твоя работает еще? Сядьте и дайте просто на вас посмотреть! - мама опьянела от восторга и не давала никому вставить ни одного слова.

Дверь мансарды скрипнула, и с гитарой в руках некстати высунулся Нестеров. Это было уже совершенно лишней каплей. Маму понесло: "Вы должны сейчас все вместе мне спеть! Хоть одну песню! Помните, поросята вы эдакие? И знаете, какую песню?! Знаете? Я точно знаю, что вы мне сейчас не откажете! Ту, которую вы пели, когда еще Анночкин папа был жив!"

Мама расчувствовалась, махнула рукой и пошла на кухню пить воду.

Было бы интересно, если бы ей сейчас удалось заставить нас всех вместе спеть.

"В Ленинграде-городе, у Пяти Углов, получил по морде Саня Соколов..." - негромко проговорил или пропел Кит со ступенек.

Верка и Доральд покорно и приговоренно сели. И затравленно смотрели, как из кухни вышел распаренный после ванны Гришкин брат.

- Что это за баба там, на кухне? - спросил он.

- Это моя мама.

- Пожалуйста, извини.

"Костя", - раздался голос за моей спиной. Я могла держать пари, что я никогда его не слышала. Это девочка слезла с Герки и задумчиво смотрела на Кита, покусывая красненький пальчик. Мне вдруг очень понравился ее голос. Голос был лучше самой девочки и лучше всех нас в комнате. Или просто

моложе.

- Это все твои женщины, Костя? Какие они все недобрые. И водят сюда мам. - Девочка спохватилась и взглянула, как из кухни выходит моя мама.

Машеньке больше ничего не хотелось говорить, но у самого выхода она обернулась и добавила: "Они все Богу душу отдадут за оргазм". И ушла.

Я вышла в прихожую, закрыла за девочкой дверь и стала искать свой плащ. Нашла его и вернулась за мамой.

Пока я выходила в прихожую, Кит спустился со ступеньки и, остановившись посреди комнаты, сказал, тепло подмигивая Доральду и Верке: "О покойнике сказано много интересного!"

- Ты сопли-то не распускай, - бросил ему вполголоса Герка Трубачев. - Доральд на тебя донес, что ты был в связи с его несовершеннолетней сестрой!

Кит посмотрел на Герку с удивлением:

- Для этого вы Доральда сюда вызывали?

- Ты считаешь, что это недостаточный повод?

- Совершенно напрасно, - сказал Кит медленно.

- Что ты говоришь? - спросил его Герка.

- Я говорю, что совершенно напрасно, - повторил Кит.

Вздохнул и добавил: - Это не Доральд, это сделал я сам.

- Ека-Макарека! - только и воскликнул Фимка.

- Зачем?

Кит пожал плечами.

- Бабы надоели, - презрительно сказал Ланской и с отвращением отвернулся.

- Мы можем идти? - спросила Верка.

Во всей квартире неожиданно погас свет, и, ни с кем не прощаясь, я повела маму на автобус.

- Я себя так легко с вами чувствую, - сказала она мне на лестнице, - у вас происходит жизнь. Знаешь, я сразу с вами молодею. А что такое "оргазм"? А? Леночка тоже не знает.

Глава семнадцатая

ОТ ЛЕНЫ ЛИПОВЕЦКОЙ

Господи, как плохо мы живем! Но это такой трудный город для жизни. Господи! Все питаются одной ненавистью. Как я не люблю Ленинград. Как тут душе зябко. Даже от улиц мороз по коже, "Дыбенки", "Крыленки", все же ведь убийцы.

"Можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по Фонтанке"... Выше, выше. Кит! Умирать собирайся, а поле сей. Этот роман продолжается, переплетаются сюжетные линии, возникают вставные новеллы, фабулы разветвляются, герои плачут и смеются, влюбляются и уходят, встречаются и расстаются навек.

Арина Ревич лежала двенадцать лет назад в отделении интенсивной терапии больницы Эрисмана. Она была чудной девочкой. Жизнелюбивой и очень веселой. Кит взвалил тогда на себя вину, которую больше нести не может. Он хочет внешнего наказания. Может быть, он и прав. Наверное, он прав. Но разве можно за жизнь успеть полюбить всех девочек, которые больны лейкозом.

Кит - необыкновенно большой человек. Я до сих пор отношусь к нему, как к антикварной игрушке, красивый мальчик с золотой головешкой. Кит запутался. Все запутались. Против этого места на земле противоядия нет. Я не больна Ленинградом. Я не родилась здесь, я - провинциалка. Но я, как пес, привыкаю не к месту, а к людям. И никому не могу помочь. Я слабая. Господи! Скорее бы включили свет. Безжалостная луна. Уличный фонарь. Четыре газовых конфорки. Пахнет йодом из перекипяченного чайника. Темные лица. Насупленные тени. Картавящие принцы. Кривляющиеся девки. Мастера и рыцари, монахи и

пэры. Страшное место на земле на костях и крови. В комнате мрак, и моего лица никто не видит. Я - глупая хозяйка этого дома, склонная к сентиментам и полноте.

Сестра Доральда умерла на моем дежурстве. О том, что у нее было с Китом, знаю только я.

Но я - доверенное лицо. Конфидент. Моя роль - это "черный ящик" тайн.

Глава восемнадцатая ОТ АНДРЕЯ

Отражение было не очень четким, и глаз было не разглядеть, но то, что я видел, выглядело достаточно убедительно: в малиновом кресле ленинградского международного аэропорта сидел высокий мужчина с ригидным затылком иностранного идиота-туриста. Веки у него были приспущены, а пальцы впились в дерматиновую обивку с готовностью взорваться барабанной дробью по подлокотникам.

- Take it easy, парень, take it easy.

Пограничные околышки. Считай, что все. Последняя проверка документов. Можешь еще раз ей позвонить. Новый эротический опыт. В сексуальной периодике это называется wife watching. Как бы перевести? Не надо переводить. Удовольствие достаточно изысканное. Твою жену выводит из знакомого подъезда румяный молодец. И дает ей затянуться из своих рук. Не торопись. Медленно. Не нужно терять детали. Мужчина снимает перчатку. И подносит пальцы с сигаретой к ее рту. И смотрит, как она делает две затяжки. Не отнимая рта. Она стала курить. А потом он берет твою жену за руку и переплетает с ней пальцы. И в шесть утра заспанным голосом отвечает из вашей постели. Так, что тебя обдаёт близостью ее тела. Можешь еще раз позвонить ей в спальню. И почувствовать ее в чужих руках. В получасе езды. С тобой же

случалось - быть с женщинами и вести по телефону вынужденный разговор. Помнишь? - Помню. - И с кем разговаривал? - Тоже помню. - Теперь за все плати. - Я не отказываюсь платить. - Так, может, еще раз позвонишь?

- Нет, хватит. Все видел и слышал. Полным весом. И два раза видел ее одну на улице. - Чего же ты, кстати, не подошел? - Не хотел.

Я сидел неподвижно. Страх не было, но от напряжения сводило шею. Подали автобус - ехать к аэрофлотовскому самолету. Когда пассажиры выходили из дверей аэропорта, к автобусу подрулил газик с майором и двумя краснорожими прапорщиками. Из машины они не вышли, только оглядывали букли заграничных старух.

Если бы у них были сомнения, то придрались бы раньше. В полупустом салоне я устроился у окна. Впереди сидела ветхая немецкая пара, а за спиной кто-то по-русски рассказывал старый самолетный анекдот: "...И он бортмеханику говорит: сейчас, говорит, переключу на автопилот, выпью чашечку кофе и пойду трахну стюардессу... А радио в салоне не выключено, стюардесса на прямых ногах бежит, бешеная, к кабине, а ее один мужик по дороге останавливает..."

Начали прогреваться моторы, самолет дрогнул, но потом опять наступила тишина.

- Ну и что?

- Что - что?

- Ну, остановили стюардессу - и что?

- А! Ну, вот и говорит ей: не торопись, говорит, сначала он хотел выпить чашечку кофе...

Снова заработали моторы, когда самолет выруливал на полосу, я закрыл глаза и расслабился, немцы с чем-то ко мне обращались, но я плохо их понимал, и разговаривать не было сил. Спать. Женщин всегда трясло от этой привычки - засыпать в момент ссоры. Нежно улыбнуться канадской

улыбкой и заснуть. Спать. Я задремал и приоткрыл глаза, когда самолет набирал высоту над Дачным. Все пустыри застроены. Зеленое пятно было лесом на проспекте Ветеранов. Когда-то я снимал тут квартиру со своей сокурсницей. Еще на втором курсе. Или на третьем. Вместе с ней мы учили "фарму", значит на третьем. Доктор Аксенова сейчас начмед в Старой Руссе. Русски карош. Нужно было закупить в "Березке" балалайки. Кит бы обязательно купил балалайки.

Рагола допоге карош. Vегu, vегu. Вауonett auf. "Отрубиться". Когда я снова открыл глаза, в салоне курили и девчонки развозили завтрак. Немецкая пара оживленно ковырялась в подносиках и чем-то трогательно друг дружку потчевала. Вот и все. Подданный Соединенных Штатов Josef Plastik вылетел в Амстердам. Можно было снять темные очки и вызывать стюардессу. Девочка приветливо наклонилась.

- Good morning. Can I bring you breakfast?
- No, thank you, not now. Have you got armenian konjak?
- Certainly, sir.
- What is your name?
- Galia.
- Thank you, Galia.

В кармане у меня лежала нераспечатанная пачка "Беломора". Я надорвал ее и выбил папироску. Разучился их курить. Хуже махорки. Когда-то я курил даже "Север". "Тот, кто курит Северок, не получит трипперок". Дерет горло, а потом начинается лающий кашель. Курево пожилых блокадниц. Кто-то из подруг курил эту мерзость. Интересно, можно ли вообще вспомнить какой-нибудь факт изолированно, без женщин. Ее это всегда безумно раздражало. Она не любила подробностей. Но она всегда рассуждала по-детски. И когда она повзрослела за моей спиной, я просто не успел к этому подготовиться. Сигареты жутко подорожали. Они там с ума посходили: полтора рубля пачка - предмет первой необходимости. "Thank

you, Galia". Откуда в сентябре столько веснушек. Широкое, плоское тело и сладкие бедра. Неужели вся в таких веснушках? Надо ее спросить. И колени я тоже вижу. Колени - это больше, чем стройные ножки. Колени - это дом. Колени - это тепло и крыша. Но сейчас меня чем угодно можно было растрогать. Вот такой голубой формой. Такая форма висела у нас в шкафу. На распялочке. И пахла топленным молоком. Или цветущей магнолией. Всегда немного балдею от женщин в униформе. Я начал представлять себя режиссером, снимающим фильм о стюардессах: просыпается, встает, чистит зубы трехцветной пастой. Визитная карточка цивилизации. После двух лет Америки меня потрясли голландские стюардессы: худенькие, бледные, носатые, с челками на глазах, но все живые женщины, с человеческими интонациями и руками, с грудью не голливудской, а женской и с совершенно осмысленным взглядом. Господа, вы знаете, что такое осмысленный взгляд? Господа, вы знаете, чем человек отличается от робота? Это шок - прилететь из Америки и увидеть живую европейскую женщину. Любого возраста. Столетнюю старуху. Быть американкой - это не национальность, это болезнь. Неужели в целом мире это понимаю один я. Герке пытался объяснить, но это нужно раз увидеть. Хороший коньяк. С двенадцати лет американки превращаются в манекенов без возраста. Какая-то новая раса. Нельзя безнаказанно, с рождения, смотреть по телевизору телевизионную рекламу. С мозгом что-то происходит. Это - как слушать каждый день репортаж с Красной площади. Но репортаж с Красной площади можно выключить, а рекламу не выключить. Неужели я опять делаю сейчас ошибку... В Канаде больше жить нельзя - это выше моих сил. Под нами, навстречу, на небольшой высоте, летел еще один самолет. Уже все. Ошибся ты или нет. Но ты снова сделал выбор. Легче всего было бы не мыкаться, а сдать властям и все такое

прочее... Но пришлось бы много разговаривать. Я совсем разлюбил разговаривать. Облака. Сколько их? Тонны. И опять земли не видно. Может быть, нет земли. Иллюзия? Если бы все начать сначала, то я должен честно признаться, что никаких сногшибательных выводов я для себя не сделал. Позавчера нужно было решать и решаться. Я стоял у окна и смотрел на бронзового Пушкина. Пушкин мне "сделал ручкой". Там плохо. Здесь плохо. Всюду, впрочем, хуже. Куда же ты летишь, если всюду хуже? Остаться все равно не у кого. Всюду бабушки, родители, гости. Принципы, любовницы. Нельзя жить без паспорта в комнате у одиннадцатилетней девочки.

Сейчас все поедут в Сухуми. Прийти вечером к костру, как будто все было сном и я никуда не уезжал.

"Earphones, sir?" Слушать ничего не хотелось. В аэропорту я уже отдал дань песням, галиматья, но внутри все в последний раз успело перевернуться: "На дальней станции сойду, необходимой, с высокой ветки в детство загляну, та-та-та-та, позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину". Что такое "та-та-та-та" теперь уже никогда будет не узнать. Слушать ничего не хотелось, но девчонка-стюардесса положила наушники рядом с ним и беззаботно уселась сама. В среднем ряду, прикрывшись газетой, сидел человек, похожий на Ли Ван Клифа, с такими же ехидными усиками, и со стюардессами болтал как свой, особенно не скрываясь. Как не верти, но этот гэпэушник мне ближе всех американцев на свете. Загадка. Мир полон загадок. Почему для пианиста выступать перед Брежневым считается позором, а перед Картером большой честью. Знаете, что я понял, господа? Знаете, чем отличаются Соединенные Штаты Америки от Союза Советских Социалистических Республик? Ничем. Такое же дерьмо. Тютелька в тютельку. Несмотря на банк спермы и по сто искусственных почек на каждую деревню. В

Ленинграде когда-то их было три на город. Банк спермы и отсутствующие глаза. Соскальзывающий взгляд у всех людей старше двенадцати лет. Свободой одинаково не пахнет нигде. Свобода - это когда можно не торговать собой. От большевиков еще можно как-то отстояться, но от жадности нет защиты. Облако из сказки братьев Гримм про горшочек каши. "Раз, два, три, горшочек - вари!" Опять всплыла эта девочка из онколожки. Когда мне Бог позволит забыть ее? Вот на что похожа Америка - на эту девочку с манной кашей. Ей было лет пять. Я обходил отделение и наткнулся на пятилетнюю девочку с менингиомой. Она пыталась ложкой есть кашу. Привычное движение, только ложка каждый раз уходила мимо рта. Девочка не понимала, что происходит, и беззвучно плакала. Ребенок с распадающейся опухолью мозга. Разъевшийся континент с болезнью, которая всеми религиями признается "нормой". Только в Америке ложку мимо рта не проносят. Это антианалогия. Болезнь называется жадностью, поражает мозг и печень. Особый товар, который служит всеобщим эквивалентом, определяет мнимый социальный статус. Круговая порука делает ситуацию безнадежной.

- First visit to Leningrad, sir?

- Yар.

Пожалуй, что первый. Не считая того, что в Ленинграде я родился. И лет тридцать в нем прожил. Не считая мелких отъездов и двух лет Забайкальского военного округа. Знаешь, Galia, как мне знаком этот город? На ощупь. Каждый метр. Кем я тут работал? Я тут всем работал. И тут живет моя единственная дочь, с которой я простился вчера в 17 часов 12 минут 30 секунд, когда ее увез со станции Звездная поезд метро. Да, пожалуй, это first visit. Таким чужим ни он мне, ни я ему никогда не были.

- Got some friends?

Чего она от меня хочет? Их мог насторожить мой паспорт.

Пакистанские штампы. Я лингвист, пять языков и шестой - пушту. Я его действительно учил - семь месяцев, неподалеку от Кабула. Вы его там еще нажретесь. Их трудно любить, афганцев. Нужно иметь специальную подготовку.

- And what did you like best?

"Бест" мне ничего не понравилось. Но я от многого опьянел. Нигде сразу столько людей не говорят по-русски. Весь последний год я слышал русский язык только в армейском военном передатчике. Очень специфический язык. "Семерка, отвечай, семерка, еб твою мать, Панкратов, отвечай!" Еще поразил вид денег. Странно, я забыл, как выглядели деньги. При виде трехи хотелось заплакать. Рубль показался игрушечным. Все смешалось: кроны, марки, фунты, мили и послевоенные трехи с красноармейцем. На каких-то был Ленин. Я точно помню, что балабол Евтушенко просил убрать Ленина с денег. Или это не Евтушенко? А может, "бест" - это то, что я выбрался оттуда целым? А рядом сидела Galia, и у нее были нежные колени и складочка на советских колготках.

- How long will you stay in Amsterdam, Galia? I'd be happy to have a drink with you!

- No, thank you. We'll fly back in two hours.

Не свисти, девочка. Не полетите вы назад через два часа. Ты просто не имеешь права выходить в город. И гулять одной без подруг тебе тоже не разрешают. И лучшее, что ты можешь сделать, - прокатиться часок по Амстердаму в закрытом посольском автобусе да купить себе в аэропорту пару тряпок на десять баксов, которые русская женщина по идее прячет в лифчик. Тебя такая привычка тоже бы не испортила. Досадно. Это моя последняя возможность выпить с русской девочкой и поцеловать ей руку. Стоп! Пьянею. Я еще должен спокойно выйти из самолета. Самолет аэрофлотский. И хоть я уверен, что никакая она не гебешница, а безобидная веснушка, но и у них свой инструктаж.

Расслабляться нельзя. Уже давно и ни с кем нельзя расслабляться. От одних я ушел, а к другим приду не скоро. Хорошо бы еще знать, что происходит с моей спиной. Ради чего я так трясусь над своей шкурой? Вот так, "Галья". Ай гот френдз. Меня когда-то двое суток ловила хельсинкская полиция - я два раза засветился интеллигентного вида финкам, и обе меня продали. Не зря писал Баратынский: "Финляндка дивной ей обновкой похвастать матери спешит..." И как я добрался до Швеции, лучше бы никому из моих знакомых не знать.

Мы летели уже третий час. Пора было уводить часы от пулковских ориентиров. Самолет прошел сплошную облачную вату, жизнь сразу потемнела, и пошла голландская крупнозернистая сеточка. "Когда какой-то геометр..." Дальше забыл. Дороги, каналы, ломоточки и квадратики. И залив Зельдерзее в полгоризонта.

- It was nice to meet you!

- Bye, sweet heart!

Второй раз за неделю жизнь начиналась сызнова. Самолет приземлялся в Амстердаме.

Глава девятнадцатая

ОТ АННЫ

Под утро мы помирились. Алешка в конце концов сказал, что секс - это не главное, и притворился, что спит. Я лежала и с отвращением думала, что муж - это я, и проснулась я в самую последнюю секунду. Снова пришлось выгонять Дашку из-под душа, и на этот раз я действительно дала ей три минуты. Дашка что-то там вякала про душевую в операционной, но я включила ей холодную воду и сказала: "Все, моя больница не баня". Потом мы на ходу позавтракали подсолнечным маслом, окуная туда ломти французской булки,

и до парадной Дашка несла мою сумочку, пока я, набив рот шпильками, не подоткнула волосы под берет. И мы закружились в разные стороны. Дашка показала мне язык, сохраняя при этом партизанскую непроницаемость, тут я поняла, что никуда мне не деться - мы опять будем месяц ссориться на море, продолжая этот четырехлетний спор: имею ли я право на личную жизнь или должна зажигать свечи перед портретом ее отца.

Пока я кружилась, одиннадцатый троллейбус ушел из-под носа. Я погрозила водителю кулаком и пошла пешком. По ночным лужам. Кого-то обрызгала по пути, перебежала через дорогу, тут мне что-то почудилось, и я пошла помедленнее. По дороге домой нужно зайти в гастроном - холодильник совсем пустой. И Дашку послать в прачечную за номерками. Все-таки за углом я остановилась и резко повернула голову назад. Я ясно увидела всю улицу. Две черные трещины в асфальте. Напротив уже открылся молочный магазин. Мелькнули темно-зеленая куртка и малиновая косынка дворничихи. Из-под колес мчащегося такси поспешно вышел голубь. Дом офицеров объявил прием на курсы кройки, шитья и машинной вязки.

И я поспешила дальше. Метров через сто мне попался по дороге наш лучевик, доктор Халатов, тихий и застенчивый пройдоха, и мы с ним на ходу обсудили четырех общих больных. Халатов скрылся на первом этаже за свинцовыми дверями радиологии, оттуда пахнуло ненавистой хлоркой, и я, зажимая нос, понеслась к себе наверх. Тут меня в дверях чуть не пришибла толстенная старшая операционная сестра, тащившая в автоклав два громадных бикса.

- Вы оперируете на втором столе.

- Кто на подаче?

- Вам-то не все ли равно? (Она сама лучше всех знает ответ.)

А кого вы хотите? (Это она тоже распрекрасно знает.)

- Зину Веселовскую...

- Она и будет. - И пошла дальше, что-то обо мне буркая ("Еще их и не все сестры устраивают...")

Но день начинался гладко. Мою больную, крепкую, сильную женщину, тренера по велосипедному спорту, уже привезли в перевязочную. Перед операцией я хотела ее еще раз взглянуть. Два месяца назад она орала с мотоцикла на своих гонщиков и сносу ей не было. И два месяца ждала к нам очереди. Collu secunda. Чуть больше. Рак шейки матки, это, между прочим, венерическое заболевание. Вероятность пропорциональна числу партнеров. По международной классификации стадирую ее как Т-2. Т - значит опухоль, тумор. Тумор, тумор, тумор... Слева немножко тянет. "Здесь не больно?" А М (метастазы) - неизвестно. "Лежи, лежи, милочка". Все-таки чуть-чуть слева тянет. Как намек. Постараюсь пойти пошире. Даст Бог - все будет хорошо. "Можно обрабатывать и подавать в операционную. Перебирайся на каталку". - "Спать хочется, Анна Васильевна". - "Спи, Наденька, это уколы действуют, скоро уже начнем. Завтра будешь ходить". Я больных после операции поднимаю на следующее утро. Чтобы не залеживались - осложнений меньше. Всех так веду, даже самых стареньких - перед операцией неделю слабительные и клизмы, два последних дня - полный голод (я - традиционный лекарь, подверженный йоговским влияниям близких друзей, на меня косятся коллеги, но послеоперационных осложнений у меня очень мало. Тьфу, тьфу, тьфу. Перед операциями я боюсь сглаза и порчи, как косная старуха, плюю, крещусь, черных кошек обхожу за два квартала). У меня еще есть несколько минут, и я немного дрожу. Возбуждение. Каждый раз - как первый. Если хирург спокойно может войти в чужой живот - он шарлатан, вы у него не оперируйтесь.

- Девочки, почему не начинают?

- Комсомольское собрание у анестезисток.

С ними можно разговаривать только матом. Я, к сожалению, не умею.

- Почему опять в наш операционный день, всегда одно и то же?!

- Не сердитесь, не сердитесь, уже можно мыться.

- Наконец-то.

Теперь ковыряйся хоть час в этом биксе - все маски в губной помаде. Черта они мажутся в операционные дни. Или маски не стирает никто?

Две минуты трюсь жесткой щеткой. "Сколько сегодня в растворе?" - "Три минуты". Значит, муравьиная кислота. Все. Сейчас меня не трогайте. Три минуты моей абсолютной тишины. Считайте, что я молюсь. Я молюсь за Надю Рябиницу, бывшую чемпионку Крыма, тридцати девяти лет. Исчезла суэта предоперационной. Сейчас я простучу каблучками, как футболист под трибунами стотысячника, и - руки уже подняты - войду в гудящую от зеркальных ламп операционную залу.

Я - хирург, я существо вне пола. Вы знаете, как ночью светятся окна больниц? Какого цвета человеческая боль, затушеванная фторотаном? Он не белый, он не стальной. Он скрежещуще лиловый. Это цвет нежелания жить. И этим цветом окрашены три моих утра в неделю.

А на животе у больной уже желтая бабочка йода. Склоненные головы анестезиологов за занавеской. Я слышу голоса и ничего не слышу. Плотные у Нади ноги. Где она родилась? Воробышком в деревенской пыли? Что-то очень здоровое в лице. Без порчи. Как ландыш.

- Правую. Зина. Левую.

Мои перчатки семь с половиной. Раньше седьмой номер был мне чуточку велик. Я подправила крахмальные простыни и подвинула себе ногой узкую деревянную подставку. Жестко, черенком скальпеля наметила линию разреза.

- Можно?

Это анестезиологам.

- Да.

- Разрез.

Теперь меня догоняйте. Рената хорошо дает. Ругаюсь с ней, что она не дает наркоз на двух столах, когда не хватает анестезиологов, но с Ренатой я спокойна.

- Зина, давай нормальный кетгут.

Я не люблю электрокоагулятор. Меня учили по стариночке, по-мужицки. Хирург учил военного времени, по фамилии Стуккей.

- Обложимся.

С Леной Евгеньевной хорошо оперировать. Мы с ней работаем в одну силу и в одно время начинали. Дружбы особенной нет, но и плохого друг другу не делали. Поднимаю кишечник.

- Горячее.

Широкий таз - просторно, легко работать.

- Горячее, Зина.

- Щас-щас даю.

Обкладываю кишечник горячим полотенцем. Зина хорошая девочка - я раздражаюсь, а она не сердится. Только бы подающая сестра не пререкалась. Я могу оперировать с любой сестрой, но с одной Зиной Веселовской у меня совместимость полная. Когда я начала сама оперировать, я поняла, почему хирурги на операционных сестрах женятся: операции - как интимная связь, никакой дистанции нет. Зина, между прочим, еще с Андреем работала. Она мне этого долго простить...

- Прямые зажимы, Зина, прямые...

Матка маленькая, со стороны живота и в голову не придет, что здесь может быть рак. Хорошо Зина подает, с легким ударом в руку. Она мне долго простить не могла, что мы развелись и Андрей уехал. Хорошо она подает. Вся

профессура со своими личными сестрами предпочитает работать: ни о чем не нужно говорить. Только глазами. Андрей мне говорил, что никогда не видел лица своей любимой сестры - одни глаза над паранджой.

- На круглые.

- На воронку.

- Шить.

- Еще шить.

Это все связки, на которых матка подвешена в тазу, как ребенок в ходунке.

- Шить.

Вот наш простой разговор: "шить" и руку в воздух. Не оглядываясь. Шлеп. Шлеп. Это Зина раз за разом вколачивает мне в ладонь иглодержатель.

- Сухо.

- Сухо. Длинный тампон.

Чуть-чуть слева кровит. Этого я боялась. После облучения всегда больше кровоточит: ткани становятся хрупкими. Вторым ассистентом стоит мальчик после нашего института. Он на год моложе меня. Мне хочется называть его "сыном". Я еще не успела с ним познакомиться. Вырядили его как малайского пирата - марлевая маска на одно ухо, белые шаровары широченные. Его к нам прислали на месяц поучиться.

- Скальпель и анатомический пинцет...

Тут я немного поясню: изнутри все выстлано брюшиной - тончайшей пленкой, а под ней сосуды как сплетение дорог на американской автостраде. Каждый крупный сосуд оплетен паутиной с фасолинками. Паутину я должна бережно снять: это те самые лимфатические сосуды, по которым раковые клетки плывут от шейки матки. Фасолинки-узлы - это сторожевые псы и шлюзы: раковым клеткам каждый узел нужно поочередно прорвать. Три уровня прорвали - любое

лечение не имеет смысла. Если в сосуды на ступне ввести специальную краску, то эти фасолинки можно на несколько дней прокрасить и увидеть на снимке, как далеко зашел процесс, нет ли фасолин, изъеденных молью. Оценка очень приблизительная - что оперировать поздно, это иногда можно сказать, а хороший прогноз никогда с уверенностью не сделать: клетки меряются в ангстремах, а рентгеновский снимок под микроскопом не рассмотришь.

- Лена Евгеньевна, лигатуры натяни немного.

Одно движение скальпелем, а дальше над сосудами я люблю идти тупо сведенными ножницами - как паутину весной с антресолей вылизывать. Ничего особенно сложного, только очень глубоко, на вытянутых руках приходится работать. Сейчас, на самом деле, все решается.

- Зина, внимательнее.

Вроде бы узлы не увеличены, но рукой узлы оценить сложно - их еще будут ступенчато нарезать, как отдельную колбасу в универсаме, и - под микроскоп. Я столько...

- Сухо. Еще, еще, доктор. Промокайте досуха. Доктор, как ваше имя, отчество?

Мягче, мягче, ты стараешься, и ты устанешь. К нам их часто присылают, но многому их за месяц не научишь. Я все сделаю за полтора часа, но если ты будешь так напрягаться, то не останется сил. Тут мощи не требуется, только чувствовать оператора. Слева все прилично. Левая сторона меня больше всего и пугала. Я столько...

- Меняемся!

...говорю об узлах, потому что если вот в этом узле раковая клетка успела укрепиться, то вероятность выживания падает вдвое. Мы меняемся с первым ассистентом местами - сейчас я пойду справа. Тупо над сосудами. Вот здесь очень опасное место - коротенькая подчревная вена - задеть ее, и все пропало: зажимами ее не схватить. Пытаются заливать

парафином. А очистить от паутины нужно и ее. Не торопиться. В этом месте я не должна торопиться. Все зависит от рук.

- Сухо, Зиновья!

Одно неровное движение, и сразу озерцо крови откуда-то набегаёт. И вслепую там зажимом тыкать нельзя.

- Я сама. Я сказала же, я сама! Только сушите! Ах, чертовка, ускользает! Очень глубоко!

- Зиновья, я кохер сброшу, дай мне что-нибудь пожестче. Давай бульдоги.

Это мы так шведские зажимы называем, где-то их Данила достал - одной рукой не разжать. Как Данила говорит, "чем грубее, тем нежнее". Мне кажется, что мальчик сейчас упадет в обморок. Он очень напрягается, дурачок. Но это со всеми нами было, все мы в обмороках бывали.

- Сейчас совсем можете отпустить.

Он раздвигает рану большими крючками и показывает анатомию, но мне сейчас нужен только крохотный уголок.

- На мочеток.

Близко уже к концу. Очень красиво: сосуды дрожат, как оголенные провода.

- Препарат.

Об этом больная умоляла не рассказывать ее мужу - удаляю одним блоком и матку, и трубы, и яичники, и все узлы в придачу. Сейчас все сморщится в тазу, а была красивая женщина.

- Зиновья, бульдог и острые ножницы.

Ткань после облучения поскрипывает, как песок на зубах. Я ей сама два раза радиоактивный кобальт вводила. Голыми вот этими руками. Не люблю заряжать - защиты почти никакой, через десять лет мы все себе зарабатываем лучевую болезнь.

- Шить...

Я чистенько все сделала, ткани склерозированы, но рака я не

видела. Теперь время - года три - нас рассудит. Осталось только шить.

- Зина, проверяй нитку.

- Сейчас шелк и длиннее.

Я оставляю в ране лес железа, а потом только шью. Так, так, так, так - прошиваю каждый зажим. У Нади Рябининой широкий таз, вся операция идет на голой технике.

- Моем руки, перитонизация. Доктор, у вас левая перчатка течет, сбросьте в таз, Зина вам даст другую.

Хорошо сегодня идем. Компенсируем комсомольское собрание. Нигде не кровит.

- Зиночка, длинный кетгут. Дай потоньше.

Операция приятная была, интересно, сколько мы уже оперируем.

- Рената, сколько мы уже оперируем?

- Час двадцать.

И еще двадцать минут мне нужно. Скоро я Лену Евгеньевну отпущу, и мы с мальчиком закроемся.

- И вот тут кисетный шов, доктор. Смотрите внимательно. Следующий раз сами будете делать.

Здесь я могу им немного заняться, он очень старался.

- Анна Васильевна...

Хорошо идем. Нет большего удовлетворения, чем от такой операции. Кит говорит, что над операционным столом выются тучи вампиров - питаются человеческой кровью. Не над моим и не сегодня. Впрочем, смотря что Кит имеет в виду. Не хирургов ли самих? Для всех нас стало острой тягой вскрыть чужой живот и сделать все как нужно.

- Анна Васильевна...

Но у меня пока хватает сил держать этот зал и защищать своих больных.

- Анна Васильевна, вы скоро кончите? Вас уже второй раз к городскому вызывают.

- Без меня ушьетесь? Дайте мальчику пошить и счет проверьте.

Счет - это счет тампонов и инструментов. Они его и без моего напоминания проверят - недавно ЧП было: один тут мастер полотенце вафельное в животе оставил.

- Историю я запишу. Всем спасибо.

Я сбросила халат, сегодня я его почти не испачкала, и аккуратно вымыла перчатки. Можно было швырнуть их санитаркам, но маленькие размеры у старшей сестры - дефицит, и пока у меня рука не выросла еще на три размера, оперировать в громадных мужских перчатках я не люблю.

На посту лежала снятая трубка, а по отделению развозили на тележке обед. Больные ходили с тарелками. Что-то такое было бурое типа тушеной кислой капусты. И по запаху тоже.

- Але, пятое отделение. Врач Волкова слушает.

Какие-то щелчки. Ну точно, это тушеная капуста. Я зажала трубку рукой и крикнула: "Сушкова, вам сегодня на "лучи", я договорилась!" Опять тихо.

- Але, слушаю вас! Да-да, громче! Нестеров, это ты?

- Привет, малыш.

Я прислонилась к стене возле сестринского поста и начала рассматривать банку с градусниками. Их держат в мокрой вате. Я никогда не могла понять, почему их держат в мокрой вате. Я не дышала, и сердце не билось. И в животе был трупный холод.

- Здравствуй. Откуда ты взялся?

- У тебя феноменальная память на голоса. Это удивительно, что ты меня узнала.

- Где ты?

- Похоже, что ты основательно вышла замуж? Оба в зеленых плащах...

- Чего ты не отвечаешь?

- Наверное...

- Что ж, можно позавидовать. Ты прости, что я звоню...
- Это ты звонил вчера утром?
- Какая разница? Ладно, малыш, я не могу больше разговаривать. Ты прекрасно выглядишь. Я тебя целую. И прости.

Я сидела и листала свежие анализы. В коленях еще оставалось зябко. Лейкоцитов у Проценко две семьсот. Тиотэф отменять и срочно. Зачем он приехал? Дешевый спектакль по телефону. И я тоже не сказала ни одного нормального слова. И ничегошеньки во мне не изменилось. А прошло уже четыре года. Как вчера. Где его теперь искать? По гостиницам? У вас не остановился липовый иностранец, мой бывший муж? К Герке он не мог не зайти. И не уйти - нас четверо сегодня на два стола. После следующей операции поеду к Герке. Вряд ли он пойдет к своим родителям. Что он делает, сумасшедший человек! Зачем он сюда приехал? Два дня где-то рядом пасется. Меня он видел. Хоть бы не ко мне - так к ребенку зашел.

- Анна Васильевна, вас ко второму столу зовут, они уже начали.

- К столу? Да, сейчас я пойду... Женечка... Это междугородний звонок был?

- Нет, обычный. Второй раз этот мужчина уже звонил, в первый раз вы оперировали.

- А кого он спросил?

- "Доктора Волкову можно к телефону", а что, случилось что-нибудь?

- Нет, нет. Все в порядке.

Все в таком порядке, что я даже не знаю, чего мне сейчас делать. Нужно себя заставить никуда стремглав не бежать и мыться на вторую операцию. Я ассистировала нашему заведующему и даже не помнила, на что он там шел. Какое сегодня число? Посижу еще секунду. Подменять меня было

некому, но десять минут Данила прекрасно может мне дать. Пусть начинает с сестрой.

Я прижала ко рту комок маски, с усилием добрела до двери и заглянула в операционную.

- Даниил Владимирович, дай мне выпить стакан кофе, я очень устала.

- Пять минут тебе хватит?

- Спасибо.

В пустой ординаторской булькал кофейник - я упала в кресло и бессовестно распустилась. Зачем этот безмозглый кретин рискнул сюда приехать?

Когда я вернулась, на первом столе еще валандались с Васильевой, а Даня с порога начал меня подгонять. У него такое пузо, что он с трудом дотягивается до раны. Но хирург он - дай вам Бог! Рукава стерильного халата склеились - я вылезала из него как из смиренной рубашки. Сзади меня уже кто-то подвязывал.

- Ань, посмотри. Чего думаешь?

- Чего тут, Данила Владимирович, думать?

Такие операции на нашей убогой латыни называются "пробатория", так мы перед больными на обходах объясняемся. "Пробатория" - значит открыли и закрыли, ничего не сделав. Разрастания по всей брюшине. Это после курса тиотэфа, уничтожающего растущие клетки. Опухоль яичников с кишечником в сплошном конгломерате, ни концов, ни начал. Это уже к лекции Доральда о свечениях. Свечение тут более чем черное. Не трогать. Не трогать. Весь кишечник в гниющей цветной капусте, сама опухоль многокамерная, зловонная, прорывается, и гноя много. Трогать или нет? Если бы можно было ее в рану вывести, чтобы хоть основную массу убрать, так и не вывести. Все в спайках. А если ничего не убирать, то ходишь потом оплеванным... Слушайте, а если он уедет? Вдруг он уедет!

- Что думаешь, Ань?

Я думаю, что как снег на голову на меня свалился единственный человек в мире, который меня интересует, и чем больше я буду тут толкаться, тем меньше шансов мне его найти.

- Довольно молодая.

Это он осторожно говорит. Я взглянула на лицо за простынку. Лет пятьдесят. Действительно, не старая. Шансов очень мало. Запущенный рак яичников, и уже кишечник заинтересован. Заочно моих друзей, милых интеллигентных демагогов, волнует "право на вмешательство". По их теориям, в черное свечение вмешиваться нельзя - станет только хуже. Килограммов пять гнойной распадающейся массы, которая прилипла к брюшине и к кишечнику. И почему природа превратила яичники этой женщины в мешки, плещущие страшным янтарем на сизые простыни с печатями больницы? За что она наказана?

Данила все еще сомневался и руками немного думал.

- Ну что?

Сам что-нибудь скорее решай. Я подпишусь под любым твоим решением, толстый Данила, член ВКП(б) или как там она у вас сейчас называется, добрый и завистливый, подлый и заботливый тракторист-самородок, заведующий моего отделения. Мне наплевать на твое мелкое честолобие и партбилет. Я люблю смотреть, как ты держишь в животе руки. И моим разборчивым друзьям не понять, что партийная сволочь Даня - тоже мой близкий и надежный друг, но в какой-то другой плоскости. Живет как все люди. Жизнь тяжелая. По утрам трясется на трамвае и двух автобусах, чтобы вот так положить руку на живот. И сейчас он должен или уменьшить вес опухоли и еще попытаться травить ее клеточными ядами, или закрыть живот и дать ей спокойно умереть под наркотиками, выпуская оставшиеся месяцы по

десять литров жидкости из прокола в животе. От попытки оперировать легче будет только нам самим.

- Попробуй немного убрать.

Это против всех правил. И грех. И блуд. И врачебный ли долг или адское искушение разгружать судьбу этой женщины, положенную ей неизвестно кем и неизвестно за что. Слепой оперирует слепого. Но нет сил оставлять в животе всю эту гниющую массу.

Так на так. И пузырь пророс, стенки как папиросная бумага. Противная операция. Провалитесь вы все сегодня пропадом - я сейчас поеду к Герке. Не может быть, чтобы он не зашел к Герке.

- Ты смотри: хорошо отделяется.

Что толку - хорошо - нехорошо. Что пять месяцев, что четыре с половиной. Кварта. От этого слова скорее содрогнетесь. Мы работаем в гнойном месиве, и с халатов течет, а потом операционный шов невинно заживет, и еще пару недель до выписки мы будем больной мило улыбаться. И она еще принесет бутылку коньяка и набор конфет "Ромашка". Три звездочки коньяк. Меньше не бывает.

- Данила Владимирович, а ты знаешь, ведь действительно отделяется.

Паллиатив. До матки все равно не добраться. Он чикнет сейчас опухоль где-нибудь посередине, и живот не будет так остро торчать под халатом. Но недолго. Через месяц все будет как раньше. Подарить ей эту радость на месяц - вся наша на живую нитку религия.

Данила мягко отделяет опухоль от пузыря. Попасть в правильный слой и не въехать в пузырь можно только на озарении.

- Микулич и прямой. Еще Микулич.

Микулич и прямой - это все, что он может сделать. А теперь попробуй прошить эти зажимы - прорезается иголка. Фикция,

а не ткань. Пытаешься завязать, и нитка ее тоже прорезает. Даня Фокеев оперирует все, кроме сердца, но сердце не фокус, сердце для научной фантастики, его инженеры оперируют, хороший хирург может за месяц научиться.

- Данила, дай я со своей стороны попробую.

Кажется, что так мы скорее кончим. Только кажется. Я всегда работаю с бешенством, у меня все от рук отлетает, а толстый Данила, как барс, подчеркнуто медленно, но вдвое быстрее меня - он не делает лишних движений.

- Все, больше ничего не убирать, надо уносить ноги.

Я - угрюмый ингуш, я - латышский стрелок, я - краеугольный камень этой власти: и ни во что не верю, и продолжаю работать по локоть в этом месиве. Только не сегодня. Сегодня у меня нескладный день, я удираю со всех операций.

- Да, да, ты иди, Анечка, запиши только препарат, а мы сами кончим.

Перчатку было никак не снять, и я ее рванула. Я приняла душ, переоделась и облетела бегом все свои палаты. Назначения я не меняла - завтра приду пораньше.

- Анна Васильевна...

Только не к хирургам, я видела, что они на "срочную" кого-то взяли.

- ...вас хирурги вызывают.

Надо было сразу уходить. Ни на секунду не останавливаться. Мать, мать, мать, перемать. За что они меня сегодня здесь держат. Все мы хирурги, но мы - гинекологи-хирурги, а они чистые хирурги. И Ренате сегодня все-таки пришлось дать два стола. В Америке одного операционного больного обслуживают четыре анестезиолога, а у нас пол-Ренаты. Я уже в четвертый раз вернулась в операционную, но мыться не стала, я просто зашла за спины хирургов и взглянула из-за плеча. Они шли на сигму.

- Анна Васильевна, тетка-то - ваша!

- Зиночка, дай перчатку.

Я надеваю перчатку на не стерильный халат - это вольность, но я ничего не испачкаю. Я хочу осторожно посмотреть рукой опухоль, прежде чем они меня сюда подпишут. Да, наша. Сомнения нет - наша. Уже четверть третьего - день только начался.

Опять три минуты щеткой и три в кислоте. Руки уже сами как щетка стали, хоть я их каждый день глицерином смазываю. Хирурги расселись в операционной на табуретках, операционная сестра им марлей накрыла руки. Ждут меня. А скоморох Спирин вышел объясняться - сигаретка на зажиме.

- И есть в истории запись гинекологов, что "придатки не увеличены"...

Есть так есть. Вы тоже ошибаетесь. Мягкая подвижная кисточка - пять минут работы. Могли бы и сами сделать. Спирин сбросил зажим с окурком в таз и вернулся со мной к столу.

- Ну, ведь ваша?

- Сеня, почему ты такой зануда? Наша, успокойся.

- Два любых зажима.

- Шить.

- Анна Васильевна, ты слышала анекдот: возвращается жена домой и говорит мужу, что ее в парадном изнасиловали.

- Зина, дай мне лучше лавсан.

- ...а муж ей отвечает: "Иди, съешь лимон..."

- Еще шить.

- ..."чтобы у тебя не было такого сладкого выражения лица!"

Болтунишка. На пальце крутит кохер как револьвер. И в отделении он может появиться в халате с пятнами крови. Это он месяц назад в животе полотенце оставил. Конечно, не только его вина - на подаче была новенькая сестра, и что она там считала - непонятно. Больная была очень запущенная. Я

взяла ее на релапаротомию по дежурству, когда рана развалилась и кусок полотенца выплыл...

Ладно, я его не укоряю, все у нас бывает, но если бы он сейчас хоть минутку помолчал. Я увидела, что Данила освободился, и помахала ему рукой.

- Данила Владимирович, вскрой мне препарат, вон он там в мисочке. Что там?

-Рак.

Рак так рак, придется объем немного расширить. Не люблю я лишний раз матку по-буденновски отхватывать.

- Быстрее, быстрее, быстрее, доктор, подхватывайте ниточку.

Вы все великие хирурги, но про лимон мне не интересно. Мне хватает, что про лимоны я слышу дома.

- Скальпель. Йод. Спирт. Четверочку. Еще шить. Перитонизируем.

Работай, работай, мальчик, я очень тороплюсь.

- Шелк, шелк, шелк, шелк. Две кетгутинки. Шелк. Шелк. Шелк.

- Моча светлая.

- Сколько я работала?

- Вся операция час десять, вы - двадцать шесть минут.

Больная проснулась.

- Переводите ее к нам в отделение. Всем спасибо.

Герки дома не было.

Глава двадцатая ОТ АНДРЕЯ

В амстердамском аэропорту я, не останавливаясь, прошел по движущейся дорожке - Nothing to declare - и у выхода разменял канадскую сотню. Вместо солидной сотни в руках остались разноцветные ярмарочные бумажки с портретами

усатых молодцов. "На гульдене ярком... На гульдене ярком портрет Арамиса Мою королеву Сегодня сменил...". Дальше вытягивалось в столбик.

Похоже, что королева лишится сегодня одного из своих подданных. Со спичечного коробка на меня глянули улыбающиеся принц Чарльз и леди Диана. Честнее было бы их тоже поменять на голландские спички. Или на зонтик. Я давно уже не видел голубых дождей. На конечной остановке скучал голубой автобус. Голубоглазый водитель с топорщившимся голубым усом собрал с пассажиров деньги и по дымящемуся шоссе покатыл к городу.

Сверху Голландия завораживает своей геометричностью, а по дороге из аэропорта строгая исчерченность исчезла. И пейзаж стал земным и обычным: бурьян вдоль автострады, и на балконах однообразных новостроек мокло забытое белье. Остальное - праздник святого Николая, городскую охрану и водяные мельницы - можно было додумывать самому. Был, впрочем, поворот на Гаарлем, со сказочными амстердамскими морскими воротами и тенью Франса Хальса, но сразу за указателем начиналось большое автомобильное кладбище, на котором рабочий-араб сбрасывал с грузоподъемника покореженные ржавые дверцы. И автобус помчался дальше. Земля была низкой, намытой вровень с чернью каналов. И кораблики и баржи тоже были низкими и скользили бережно, чтобы не вытеснить на мостовые ни грамма соленой воды.

Я стал быстро привыкать к городам. Было чувство, что в этом городе я не третий раз случайным проездом, а жил здесь всегда. Вот на этой Малой Невке. Сидел с удочкой на деревянных сваях. Учился на этой Карповке, заросшей крапивой и лопухами. Еще сотня ярдов, и будет амстердамский лепрозорий. Триста лет назад он был за этим поворотом. И железнодорожный вокзал снова был окутан зеленой сеткой и строительными лесами. И мимо шли

озабоченные знакомые люди.

Но они меня не знали.

Я вышел из автобуса и по мощеной мостовой пошел разыскивать свою straat за площадью Рембрандта.

На площади стоял прохладный трамвайный вагончик - я его потрогал рукой, и он неожиданно зазвенел и унесся в глубь города. В таком городе приятно работать каменщиком. Но на это рассчитывать не приходилось. И пора было решать, что же делать дальше. О Канаде забудь. Можно поехать в любой город с булыжной мостовой, который меня на год примет. Не знаю куда. В Португалию. Чтобы над головой сушилось белье и из дворов несло интригами и кознями. Или рыбой. Или чем-нибудь реальным. И чтобы улицы назывались "Рембрандтами", а не трехзначными номерами.

Я кружил еще минут десять по каналам и остановился, наконец, у странного здания, которое было для меня ориентиром: с фасада окна двух этажей, а по торцу, вслед за возносящейся под очень острым углом красной черепичной крышей, шел бесконечный ряд мелких окошечек. Может быть, для гномов или для троллей. Чугунные ворота нехотя раздвинулись - высокая очкастая старуха проводила меня внимательным взглядом. Я ей поклонился. Чет-нечет: тесный дворик выложен разноцветными брусками. Пять уровней мокрых крыш сходились над крытой галереей. За приоткрытыми бордовыми ставнями виднелись непроницаемые витражные окна. Вход был дальше, в центре галереи. Звонка я не нашел и несколько раз негромко постучал. Мать Стива была фламандкой, а отец - канадским французом, в Европу они наезжали редко, и десять месяцев в году квартира пустовала. Правда, верхнюю часть этого стиснутого домика они сдавали. Загудел зуммер, и Стив в халате пробормотал приветствие из дверей бейсмента: "Andreas, alive".

Элайв-элайв. Справа в прихожей сушилось несколько глиняных бюстов. Я спустился вниз по мягкой лестнице. В сводчатом подвале было сыровато, я уже имел удовольствие здесь неделю назад напиться, но за неделю квартира стала похожа на жилье, а не на угрюмую кальвинистскую темницу. Пока Стив одевался в спальне, я перебрал его погребок, открыл бренди и, позевывая, откинулся в кресле. Сейчас бы лег и проспал трое суток. Хоть бы и на этом биллиарде. Не влияет. Свет мне тоже не мешает.

Мне мешает, что если устраиваться спать, то потом труднее будет разговаривать о деньгах. Деньги и документы - вот все мои с ним дела.

За эти дни моя стойка существенно изменилась: у Борьки в Тель-Авиве лежал мой диплом, и хоть одна страна в мире готова была признать меня врачом. У меня было чувство, что я держу в руках свой поводок и опять не знаю, кому его вручить. Можно снять в гостинице номер и неделю пожить в Амстердаме. Или лететь к Борьке? "Надоело жить в Рязани и всю жизнь плясать кадрили". Даже забавно. Возьму диплом, встречу с Борькой. Там посмотрим. Денег на год хватит. Если я протяну год. Не жить же этот год в амстердамской гостинице, висеть у себя над душой и вести самому с собой пьяные диалоги. Удивительно дерьмовое бренди. Стив выполз из своей горенки, и я заметил, что глаза у него мутноваты. Он начал стучать меня по плечам, но достаточно формально. Из-под бархатного халата торчали худые нетвердые икры, скорее не легионера, а сатира. Боже мой, как хочется спать. И спина болит. Как я все-таки всегда чувствую, что меня собираются надуть. Так не хочется никаких эмоциональных взрывов из-за денег.

- This is Hyanita.

Это красивый ход. Хуаниты я не видел, но какие-то звуки доносились. Потом из спальни выплыла темная девочка с

замечательной осанкой. Отъем денег неожиданно затрудняется. Я всегда делаю одну и ту же ошибку - мне достаточно слова, я не люблю письменных договоров. А когда приходит время расплачиваться, слова их паршивого недостаточно, всегда начинаются игры. Хоть он тебе друг, хоть брат. У Хуаниты удивительный таз - не больше коробка хозяйственных спичек.

- I bet you are from Yamaica.

Так я и думал, фирма "Ливай" шьет для Ямайки специальные джинсы. Из одних штанин.

- How come you are here in Amsterdam?

- Studying.

Чему еще можно учиться, имея такую фигуру? Но все-таки, что у нас происходит с деньгами? Сегодня. Я уезжаю сегодня. Сейчас. Хорошо, я подожду, Стив. Посижу сколько нужно и буду любоваться Ямайкой. Может, правильнее было бы сейчас лечь в постель вот с такой славной девочкой, которая любит этим заниматься. К белым любовникам она, похоже, относится снисходительно. И цену себе знает. Очень мило, что я теперь свободен. В далекой северной стране я получил отставку. Ты думал, что тебе нельзя найти замену? Я именно так и думал. А что ты теперь думаешь? Теперь я думаю, что у Хуаниты самая крошечная попка из тех, из всех тех, одним словом, из тех, которые я держал в ладонях. И забыть с такой зверюшкой обо всех поездках. У меня остался год, и я ни о чем больше не хочу помнить. Я пьянею, Стив. Я не чувствую к тебе никакой вражды, но для меня эта полутемная квартира необитаема. Только пьяные видения, и мне не с кем их разделить. Люди, которые могут меня услышать, все, странное дело, живут в Ленинграде, а меня носит как дерьмо по чужим квартирам, в которых мне нечего обсуждать. У Хуаниты замечательная грудь. Нераскрытые бутоны. Вздорные эллипсы. Но мы с вами разных видов, ребята, как собаки и волки. Мало, Стив, мало.

Посмотри-ка на меня. Знал же ты, милый, что я приеду. До чего же они цепко держат деньги. Да, я понимаю, что пришлешь, но мне бы лучше cash, и не потом, а сразу. Не увидимся мы, Стив, наверное, больше никогда. Жалко. Мне трудно расставаться с людьми. Спасибо за внимание. Fun is over. Второй доктор уже вернулся в свою "Торону", уже снова смотрит Хоккей. С большой буквы. Я бы сейчас тоже посмотрел. Замечательный суррогат жизни. Через год вы, ребята, купите себе виллы в Британской Колумбии и спортивные самолеты. И я даже не уверен, что своим марципановым женам вы станете рассказывать, что же с нами происходило. No problem. В Канаде все люди говорят "no problem". А сейчас короткий миг, когда мы еще не забыли, что в мире есть проблемы. Героического с нами происходило очень мало. Героическое показывают по телевизору. И цепь неловких отвратительных дней можно превратить в легенду.

Мерзость и унижения - все можно превратить в легенду. Трехлетних девочек с оторванными кистями - в легенду. То, что мой народ им подбрасывает заминированные игрушки, превращается в анекдот. Это не Ки-Джи-Би подбрасывает, которого вы все так боитесь. Это мой народ подбрасывает. Завод в Серпухове. Сидят два цеха девочек и минируют кукол. Но это - мой народ. И поэтому, Стив, нам друг друга не понять. Я не знаю, что ты обо мне думаешь. А я думаю, что злые духи высосали из тебя душу, и ты без нее прекрасно обходишься, понесло же тебя даже в такую жуткую авантюру. И мы прожили вместе не совсем обычный кусок жизни. Спину ломит. Сажусь и уже не разогнуться. Вот так, "бади". Выяснилось, что жизнь не состоит из play off и налогов Трюдо. Play off мы видели на шоссе у Газни. По имени Саша Топорков из города Томска. Замечательная еще одна зловонная легенда, залитая испражнениями. Наши афганские друзья обрубили ему руки до плеч и ноги чуть выше колен. И

аккуратно перетянули культи голубеньким электрическим проводом. Leutenant Sasha был еще в сознании. Чудного цвета. Как наша сексапильная подруга с Ямайки. Вот так, Стив. Видишь, я тоже все помню. Даже число - двадцать четвертое июня тыща девятьсот восемьдесят второго года от рождества Христова. Шоссе Газни - Кандагар. Ваше здоровье! Мы его спустили по откосу к шоссе - это все, что можно было для него сделать, и потом еще долго не могли отмыться. У меня, кажется, еще до сих пор пахнут руки. Ладно, нет больше денег, значит, нет.

- So you owe me two grand. Dont forget! No cheating! Самое смешное, что твои деньги мне могут не понадобиться, но ты мне их вышли. Вещи? Вещи я возьму. Нужно вставать. Как бы удержаться и Хуаниту не погладить. Ее хочется съесть. Фантастическая фигура. Я уже год не дотрагивался до женщин. Кожа зеленая. Очень удобный цвет. Все, ауф видер зейн, я поехал в Израиль.

На улице мутить стало меньше. Дождь кончился. Я вернулся на вокзальную площадь, оставил спортивную сумку и "дипломатку" с бумагами на дебаркадере и посмотрел на свое тусклое отражение в воде. Стая нырков проплыла. Все похоже: пыль и ветер. Деревья так же гнутся. Пора возвращаться в аэропорт. Оставалась последняя беломоринка. Я закурил и бросил в канал пустую пачку. Визитом своим я доволен не был. Я не люблю, когда меня подводят. Поэтому я не принимаю никаких чужих услуг. Чтобы потом меня не постукивали по плечам со словами "май френд, у меня нет наличных денег". Пропади он пропадом.

Смятую пачку "Беломора" прибило волной к стенке у моих ног, и недокуренный хабарик отправился следом. Пора переходить на ментоловый More. В общем-то, я неплохо съездил. Без неожиданностей. Я ездил прощаться с Дашей - и я попрощался. Если от жизни ничего не ждать, то и

разочарований существенно меньше.

Итоги жизни неутешительные: тебя помнит один человек на свете, и поскольку этот человек учится в пятом класса, шансов увидеться у вас уже нет. Мать ее нисколько не изменилась. Смешно было надеяться, что она меня ждет.

Пусть я сто раз виноват, но она ведь и писем моих не читала, и ничего слышать не хотела. Тяжело привыкнуть, что с твоей женой кто-то спит и она во сне кладет кому-то голову на плечо. Но тебе еще ко многому придется привыкнуть. Всюду крах. Финал. Ничего бы так не хотелось, как остаться в Ленинграде. Жить у нее на кухне и есть из рук. Плевать. Конечно, плевать. Что же я все-таки ее не окликнул? Неужели из-за тщеславия? Может быть, и так. Дай ей Бог здоровья. С этой темой покончено. К причалу пришвартовался уютный белый кораблик, речная собака, такие болтаются летом за Аничковым мостом, я останавливался около них в субботу. От "Европы" по Невскому, по пустым набережным - одинокий американский турист, со стриженным "по-ихнему" затылком. Меня никто не вел, и из уличного автомата я сговорился с шефом и с Геркой.

А на следующий день поймал Дашку, и Дашка была в порядке. Она надеется на встречу через семь лет, и я тоже обещал в это верить. Что еще я ей мог сказать. Таких детей надо было штамповать. Было - сплыло. Анка встала на ноги.

И этого своего так называемого мужа она удерживает на дистанции. Так мне, по крайней мере, по ее движениям показалось.

И больше ни с кем я встречаться не мог. Два на два, если не считать Дашку: Герка и шеф, но зато родители отказались меня видеть. Я говорил с ними по очереди: задал отцу вопрос и через десять минут перезвонил. Подошла мать и сказала, что отец не может прийти в себя от моей наглости. Нет - значит, нет. А шеф узнал мой голос и сразу сказал: "Конечно,

приходи, только аккуратненько". Что можно было отнести к его хирургическим приговоркам. Шеф оставлял конец операции ассистентам и всегда просил: "Вы только аккуратненько". Шеф был самым вежливым человеком на свете. Его можно принять за лысого циркового борца. Из казанского цирка. Глаза стали жестче. Лицо - жестче. Татарская складка на затылке тяжелее легла на воротник.

Я показал ему свои метки на спине. И это была вторая причина моего приезда: Дашка и мнение Шакира. Глазами и руками. Безо всяких биопсий. Пока не влезают инструментом, еще на что-то можно надеяться. Не верить в операцию у меня хватает ума. И под электричку, пожалуй, я бросаться не буду. Чего я ною: я отлично прожил. У меня ни к кому нет претензий. И я готов к расплате. Диагноз, к сожалению, ясный. Мелана. Самая что ни есть. Но посоветоваться с Шакиром - это то, что я мог себе позволить.

Сначала мы поговорили о хоккее. Люди не видятся четыре года и начинают свой разговор с хоккея. О чем еще можно говорить с канадцами? За последний год я мало слышал о хоккее, разве что о травяном. Год назад я видел наших в Эдмонтоне. Странно, что канадцы проиграли турнир. Один Грецки стоит там целого "Спартака".

- Я сейчас не из Канады.

-А...

И все. Шакир не переспрашивал. Лучше меньше знать. После этого я снял свитер и показал эту штуку на пояснице. Цвета антрацита. Глаза у Шакира сузились до точки, и это все, что я хотел увидеть.

Потом он помял узлы. Стесняясь, посмотрел над ключицей. Небрежно посмотрел. Я все ждал, что он там посмотрит, и он понимал, что я жду, и я понимал, что он понимает. Если есть узел над ключицей, то можно отпевать.

- Я сам смотрю тут каждый день, но вроде бы нет ничего.

- Одевайся, Андрюша.
- Чем меня порадуете?
- Всякое бывает, Андрюша.
- Вроде бы явная.
- Неподтвержденная - никогда не явная. По виду похоже, но ты же сам говоришь, что за год она не изменилась.
- Может быть, цвет.
- Как ты ее заметил?
- Родинка там была давно, а я в прошлом году работал арматурщиком, знаете, весь день на поясе монтажном висишь. Где-то я ее и смял.
- Ты хоть мне не рассказывай, что ты теперь арматурщик, - задумчиво протянул Шакир. Он открыл бутылку "Ахтамар". Он помнил, что это мой любимый коньяк. Разговор не очень клеился: мы чокались и молча пили.
- Может быть, вернешься?
- Все равно теперь, больше мороки.
- Ледохович при тебе защитился?
- Нет. Ну так сколько, по-вашему?
- Почему ты не хочешь лечиться?
- Сколько у меня есть, Шакир Фитяхович?
- Ты же сам знаешь, что на такой вопрос не ответить.
Хочешь, я скажу тебе - год?
- Мне тоже так кажется.
- Что же ты теперь собираешься делать?
- Не знаю. Скорее всего послезавтра улечу.
Он неопределенно показал на мою спину.
- Ничего.
- Может быть, хоть голод попробуешь?
- Я уже пробовал. Ничего больше делать не хочу - будь что будет.
- Можно и так. Пишут же о самоизлечении.
О самоизлечении только пишут - я не видел. И Шакир в

онкологии уже двадцать пять лет, но и он тоже не видел. Видели только журналисты. Шакир хотел что-то спросить про Анку, но я покачал головой. Мы обнялись. Ближе меня у Шакира не было никого.

А потом я поехал к Герке. И около Геркиного дома была случайная встреча, которых я так боялся. С какой-то нашей стародавней соседкой. Я ее не видел лет двадцать и на вопросы отвечал односложно: "Да, да, здоровы, работаю". У соседки умер муж, и мы постояли, пока она вздыхала. Потом начала жаловаться, что в магазинах ничего нет - тема, от которой я поотвык. Она приехала в Ленинград из леспромхоза, и мы повспоминали еще, как пилили вместе дрова во дворе. Пилила она классно: пилу не дергала и ногу ставила на козлы, как мужик. Такие встречи были опаснее всего. А потом вышел толстый Герка, пошутил про Штирлица, и мы, как в детской игре, с шестидесятого номера вернули Буратино на тридцать пять ходов назад, в Геркин скособоченный дом. В его крохотной квартире сидячая ванна была по-прежнему забита бельем, и мы, как всегда, варили кофе в джезве и заедали его сухой печенюшкой. Без калорий. У Герки я снова закурил. Последнюю сигарету до этого я выкурил в марте, когда мы из Пешавара выезжали к афганской границе. Я не хотел ничем себя связывать, даже сигаретами. Чем меньше вещей привязывает тебя к жизни, тем меньше хочется жить.

Герка сбегал в лабаз и принес две пачки "Беломора". Одна из них еще плавала неподалеку.

Встречаться с Анной Герка мне не посоветовал. Сказал, что она хорошо живет, успокоилась, и не нужно ее дергать. И еще Герка сказал, что ему удалось добыть копии моих документов и он послал их моему сводному брату - брат уже подтвердил получение. Трубачев порылся в бумагах, но письма не нашел.

Пора было уже что-нибудь съесть. Я побрел с вещами вдоль канала, набрел на ларек с сосисками, неторопливо поел,

вымазал горчицу хлебом, заказал еще одну порцию и банку кислого английского пива. Набережная была грязноватой, грязнее, чем улицы в Швеции и в Канаде. Потом я сел на камень над покачивающейся яхтой, допил пиво и снова закурил. Яхта называлась "Vambi". Наверное, назвали для детей. Как она отсюда выбирается в залив? Мосты все были невысокими. Может быть, разводят центральные пролеты. Снять домик в Португалии и купить такую яхту. Можно взять с собой девчушку с Ямайки и следить, чтобы она не трахалась с соседскими мальчишками. Денег как раз должно хватить. На Хуаниту и яхту. Когда Хуанита станет бабушкой, она будет весить сто сорок восемь килограммов. А ее спичечная попа станет размером вот с этот фургон. Что же делается с костями, они вроде бы к старости не растут? Как удастся пронести центнер лишнего веса на прежних костях? Это интересная диссертационная тема. "Экстензия тазовых костей у коренных жителей Вест-Индии".

Какой же сегодня день? Неужели еще вторник? И только вчера я посадил Дашу в метро на Звездной, пропустил два поезда и поехал за ней следом. До этого мы три часа провели вместе в Павловске. В гостинице мои вещи тем временем добросовестно прошмонали, но там трудно было что-нибудь найти. Даже одежда фабрики Володарского давно истлела. Или не Володарского, Володарского папиросы, но похожее название.

Я чувствовал, что так кончится: за мной с утра пристроились два стертых мальчика, и мы походили втроем у Думы, поглазели на прохожих. А потом спустились в метро. Это все-таки удивительно: уезжаешь - приезжаешь, жизнь проходит. А метро как ни в чем не бывало работает. Эскалаторы вниз едут и вверх. Еще даже ноги высоту ступенек не забыли. В подошедший поезд я не сел, и мы имели возможность осмотреть друг друга, оставшись втроем на платформе. А в

следующем поезде я придержал дверцу ногой и успел выскочить, а они уехали к "Техноложке". Второй раз я бы так рисковать не стал.

А вот в этой "дипломатке", которая оставалась в Амстердаме, уже было много на русском языке и лишнего: дневники за несколько лет и тетрадка стихотворного блуда. Непонятно было, что с этим литературным наследием делать. Дневники я писал, чтобы унять страсть к переписке и общению с людьми. Можно наделать бумажных корабликов и пустить их в канал. Или запечатать в фигурные бутылочки из-под "Кока-Кола". Я потянул наугад одну страницу: "...делаешь над собой усилие, когда женщина раздевается и, выворачивая себя наизнанку, стесняясь, сутулясь, обнажает очень-очень стыдную грудь. И через *so miserable*, через щемящее сочувствие, вдруг в грудь влюбляешься, влюбляешь себя, в никакую, в высушенную, в любую, в сам этот стыд, акцентируешь самое уязвимое место и начинаешь здесь расслаблять, приручать ее...

...почему-то за границей женщины вяжут, но не мотают постоянно бесконечные клубки. Мотать клубки - это какое-то наше национальное таинство...

...сильное предубеждение против немцев, при том, что любимые писатели - немцы. И против немок. Против немок, пожалуй, больше нет. Во многих, как и в русских, есть незавершенность, и отсюда свобода. Ленни у Белля похожа на Ленку Сонину..."

Романтично. Дневник молодого Вертера. До конца не поверить, что я когда-то мог это писать. Тогда я еще мотался по Европе. Оказалось, что без легализованного диплома никакая медицина нигде мне не светила. А легализованного в Министерстве юстиции диплома у меня с собой случайно не оказалось. Всем моим сомнительным богатством оставался советский паспорт. Клыкастый и мордастый.

Врачебная мафия себя везде очень хорошо охраняет от вторжений.

Первый кораблик получился с низкими бортами, и ленивой волной проходящего мимо катера его сразу залило. И он, вместе с немками, и русскими, и "уязвимой грудью", начал медленно погружаться.

Больше читать не хотелось. Идея Амстердама начала себя изживать. Я уже мог возвращаться в аэропорт.

Мой рейс несколько раз переносили, пока, наконец, не назначили на пять часов утра. И ночь я, вытянув ноги, провел в кресле. А в четыре утра сам проснулся.

Залы на Израиль были оцеплены военной полицией. Я сполоснул лицо в туалете и пригладил волосы.

В кармане еще бренчала голландская мелочь: можно было закупить в никелированном автомате презервативов, надуть праздничные шары и полететь на них по миру.

Глава двадцать первая

ОТ АННЫ

К Герке я попала...

Хочется все перевернуть. Очень все раздражает. Снова нужно стричься.

Я прочитала, что в кончиках волос хранится память - идешь к парикмахеру, и каждый раз кажется, что жизнь начнется заново.

К Герке я попала только через три дня. Телефон не отвечал. После работы я прогуливалась у него под дверью - моя записка торчала нетронутой в складке лопнувшего дерматина.

В понедельник, не застав Герку, я поехала к родителям Андрея. Я не видела их больше года. Надо вспомнить: год и три месяца. Телефонные разговоры не в счет. Когда-то мы вместе с ними жили, но не очень долго. Несколько месяцев.

Тогда я сделала для себя очень интересное открытие: нельзя хорошо относиться к человеку, который тебя не переносит.

Далинские живут на Голодае. Это единственное место в Ленинграде, которое не переболело девятнадцатым веком. Много света, залив в осоке, пешеходов сдувает вдоль матросских слобод. Мне никто не верит: я видела там один раз двух живых коров.

Солнце уходило в воду.

От близости моря меня сразу стало познабливать. Ничего не случится - зайду на секунду, спрошу и уйду. Еще сорок лет прожить, и все равно она останется для меня свекровью, вызывающей во мне дрожь. Дверь в квартиру была приоткрыта, в воздухе светились пылинки, и на фоне солнечного окна за столом сидели два постаревших силуэта. Два силуэта. Больше никого. Ни души. Я гонялась за тенью. Арон начал суетиться, подставляя под меня табуретку, я, грешным делом, подумала, что он пьян. Он был в тужурке без погон, со следами орденских планок и затертыми форменными пуговицами. Они только сели ужинать. Пока Арон Максимович снимал мой плащ, у него дрожали руки. Но мне он мог не вкручивать: несмотря на двух уехавших сыновей от обоих его браков, он оставался профессором-консультантом крупного НИИ, и ни уволить, ни тронуть его с места почему-то не могли. Там работала жена Юрки Сорокина, и она говорила, что если на свете бывают живые драконы, то один из них пудовыми волосатыми кулаками накладывал мне на тарелку селедочный винегрет.

Но я не стала долго ломаться и спросила: "От Андрея ничего не было?" Пуф-треск-бум-трах. Ладно, ладно, я пошла. "...такую наглость" и "...с ним ничего общего". Я сама не имею с ним ничего общего. Во всяком случае, не имею, пока я его не нашла. Заявлений для печати при мне можно не делать. Арон Максимович, впрочем, молчал. Ел свой винегрет, будто

ничего не слышит. У меня мелькнуло подозрение, что без этой мегеры, он бы мне что-нибудь мог сказать.

Дашка их любит. И они Дашку любят. Следующий раз пошлю Дашку. У меня дико разболелась голова, и от Далинских я решила поехать в аэропорт. Я не надеялась его там увидеть, просто хотелось успокоиться, но мне там даже посидеть не удалось. Я металась по залам и еще больше устала. К залам иностранцев я и не приближалась, видела издалека, как привезли два автобуса нарумяненных скандинавов. И сгрузили.

Хвост такси стоял, машин восемьдесят свободных. Но куда на них еще поехать, я не знала.

В следующие дни я только заходила к Герке в его промозглый подъезд. Ничего. Резанет острым кошачьим запахом, и в дверях белеет моя записка. Герку никто из знакомых не видел. А в четверг я, не размываясь, отстояла две операции, а вечером у меня было длинное дежурство - я кого-то замещала до полуночи. Я успела написать почти все истории, переводной эпикриз и двух больных выписать; от одной из них мне весь день удавалось уворачиваться, но вечером она меня подстерегла у двери с большим свертком в газете. Когда я подошла, она стала мне засовывать сверток в руки. Сверток я взяла. "Анна Васильевна, что же у меня все-таки?" Я посадила больную за свой стол, незаметно прикрыв все бумаги с полулатинскими диагнозами, и начала свои стереотипные перепевы: "Ничего от вас не хочу скрывать (это предварительная фраза полного вранья). Плохого (я со значением зависаю на этом слове) ничего особенно нет, но и порядка тоже нет. В общем, вовремя мы вас оперировали". Большого я сказать не могу - вроде бы в других странах говорят, но у нас не принято, считается, что очень травмирует психику. Что думают про себя сами больные, никому не известно. Заболевшие врачи, с которыми я сталкивалась,

мысль о болезни от себя гонят и всему стараются верить. Правда, для врачей мы заводим по две истории - поддельные отдаем на пост, а настоящие держим в столе у заведующего. Работай я в своей собственной клинике, я бы говорила правду. Или не говорила бы. Я не могу окончательно решить.

Остаток историй я дописала на кухне, пока снимала вечернюю пробу. Поболтала немного с потной поварихой, она мне рассказывала какие-то небылицы, а я писала машинально свое "состояние удовлетворительное, сердце, дыхание, живот мягкий, безболезненный" и ей поддакивала. Я люблю сидеть на кухне, но и здесь меня нашли: в хирургии у послеоперационного промокла повязка, и в радиологии больная с кобальтом пожаловалась на острые боли в животе, пришлось ее разрядить. И у двух больных были послекамфарные абсцессы. Я сделала выговор постовой сестре, что они не греют ампулы, а она огрызнулась, что и назначать незачем. Я подумала и сдержалась. Сама я камфару не назначаю, а с радиологическим отделением отношения у нас прохладные, пусть что хотят делают. Перед самым уходом, когда меня, растерзанную, пришел менять свеженький и отутюженный коллега, я набрала наудачу Геркин номер - было занято. Я набрала внимательно каждую цифру - занят. Я, видимо, была немного не в себе, доктор Клементьев, я чувствовала его взгляд, с интересом меня рассматривал. Я не стала ждать, позвонила Алешке, сказала, что задержусь на работе (доктор Клементьев хмыкнул), под проливным тарабанившим дождем поймала у больницы машину и поехала на Петроградскую сторону - у Герки горел свет. Записки в дверях больше не было. Я сняла мокрый плащ и стряхнула его над зияющей подвальной лестницей. За шиворот текла противная холодная струйка. Я пошарила в сумочке, но зеркальца не нашла. Где-то я его сегодня забыла. Ноги стали совсем ватными. Я точно знала, что сейчас произойдет чудо. Я

редко настолько доверяю своей интуиции, но сейчас меня как вспышкой ослепило - он здесь. Я точно знала, что он был за этой дверью. Я видела его сквозь стену. Я дала себе волю, о престиже можно было не заботиться - зрителей все равно не было. Я медленно нажала красную кнопку звонка. Дожила: я уже перестала верить, что в жизни может случиться что-нибудь хорошее. Господи, сейчас все твое. За дверью были глухо слышны голоса. Я должна была успеть что-нибудь обещать. Как на падающую звезду. Пока она летит. Меня осматривали в смотровой глазок. Уже открывают. Если он здесь. Что? Я не знаю что. Я должна успеть, пока не открыли дверь. Ни слова лжи в моей жизни. Даже если его здесь нет. Даже если его здесь нет. Зазвенела цепочка. Я успела. "Баа!" - открывая дверь, протяжно сказал Герка. Он сиял и приветственно отдувался. В каком-то немыслимом шелковом халате с черными тюльпанами. На голую розовую грудь. Я прошла сквозь него в комнату. Андрея не было. На диване сидел, развалившись, этот их семнадцатилетний звереныш и смотрел на меня почти испуганно.

Я упала в кресло и попросила у Герки разрешения сбросить туфли. Туфли очень жали - узкая колодка, нужно было по лужам бежать босой. Девочка, похоже, ждала, что я сейчас разденусь догола. Андрея не было. Сидела вместо него Машенька и неодобрительно меня оглядывала. Я бы сейчас еще сняла колготки. Мне все мешало. Глаза у меня, наверное, немного блестели. Но я была очень спокойна. Мир не перевернулся. Я могла запросто с ними разговаривать. Трубачев на все реагировал очень мило: он постоял в дверях и пошел заваривать мне кофе. Вся квартира пропахла кофейными зернами.

Я выпью с ними кофе. А глаза могут блестеть от дождя. И от ветра. Я чудесно все замечала: у Герки появилось новое кресло, раскиданы были пыльные книжки,

перефотографированная "Лолита" третью неделю была раскрыта на сто четвертой странице, "Доктор Живаго" без обложки и всякий еще печатный вздор, которым Герка соблазнял новых девочек.

Я их много разных видела, большинство в плиссированных юбочках и обязательно челочка заколота невидимкой. На девочек из хороших семей особенно действует беспорядок: тиски, канифоль, паяльники на столах, станки с колесами. От ювелирных мастерских они совсем пьянеют. И у Герки тоже мило: разобранные магнитофоны, печатные машинки без корпусов, старые афиши, облезший медведь на диване, в которого можно закутаться и сидеть часами. Геркины девочки в конце концов выходили замуж за инженеров, которые рано засыпали и прихрапывали.

- Нежареный зеленый кофе, только сегодня украден из порта!

- Я чувствую, что его уже пожарили. Можно я руки помою?

В ванную было жутко входить. Я, не торопясь, теплой водой помыла руки и вытерла каждый палец отдельно и шею. В ванной кисло замоченное белье, я подумала, что можно постирать его для Герки, но у меня не хватало порошу до него дотрагиваться. Интересно, когда эта девочка пойдет домой, скоро уже транспорт перестанет ходить.

Герка сидел на подоконнике и картинно разглагольствовал: "Я, Машенька, не боюсь ответственности - я ее принципиально отвергаю: я не женюсь, потому что я ни одной женщине не могу гарантировать, что я с ней проживу всю жизнь, а обманывать жену мне противно, я не завожу детей, чтобы не обрекать их на безотцовщину и на всю эту грязь, к которой мы по необходимости привыкли. Зачем рожать детей, чтобы их так калечить? Я не взваливаю на себя больше, чем могу унести. И, наконец, я не работаю. И не буду. Я ничего не создаю, но я и не вношу в мир лишнего зла, а кто еще этим

может похвалиться? Назови мне хоть одну городскую специальность, минусы которой не перевешивали бы сомнительную пользу! Вот спроси у Анночки, она уважаемый член общества, помогают ли больным ее операции? Она полна благородной уверенности, что в состоянии продлить старушкам жизнь..."

- В этом я как раз не уверена, - сказала я.

- ...но, во-первых, надо спросить старушку...

- Герка, ты знаешь, зачем я приехала?

Машенька подняла голову.

- Думаю, что ты приехала соблазнить своего старого друга.

Ануля, ты не могла бы объяснить Машеньке...

- Хорошо, я объясню. Скажи, что, он в городе?

- Кто он?

- Андрей.

Герка недоуменно поджал нижнюю губу.

- Насколько я знаю - нет. А почему ты спрашиваешь?

- Я пошутила. А ты серьезно считаешь, что старушки...

Ответа я не слышала. Глаза слипались, и в одну секунду на меня напала невероятная сонливость. И еще было смешно. Я засыпала и тихонечко смеялась: ничего не было, я придумала все от начала и до конца. Моногамная истеричка. Сладкий бред. И как красиво. Чудесная вставочка про зеленые плащи. Не нужно всплесков. Никому не придет в голову звонить тебе на работу. Дана тебе жизнь, и спокойненько ее проживай. Без игр в таинственные звонки и международных ковбоев.

Любимый исчез, но зато я теперь могу утешаться тем, что моей жизни коснулась печать мистики. Среди всего этого безобразия звонит мой сбежавший герой. Я смеялась чуть слышно, но девочка все-таки спросила меня исподлобья: "Что у вас стряслось?" Я покачала головой. Но звонок был таким явственным, как Геркина комната и это несчастье на диване. И звучал, как сейчас, его голос. Я снова слышала голос Андрея

и сказала ему: "Мне показалось, что ты звонил". - "Я жду тебя внизу". - "Тут лестница не работает". - "Непочатый край работы", - сказал он почему-то, и я очень осторожно приоткрыла глаза и снова закрыла, чтобы они видели, что я не сплю, а просто так щурюсь. Не может быть, чтобы они не слышали наш разговор. А у Машеньки я разглядела разноцветные радужки: правый глаз зеленоватый, а левая радужка с рыжей подпалиной. Я почему-то решила, что она любовница Андрея. Наверное, я все-таки успела увидеть сон: насколько меня находили нужным ставить в известность, Андрей девчонками не интересовался. А я дала бы голову на отсечение, что Машенька девственница-переведенница, тело у нее было скручено в пружинку, а на губах еще лежала пыльца. Как у бабочки. Я все еще смеялась, и они смотрели на меня растерянно.

- Герушка, сейчас я уйду, и ты девочке все дальше расскажешь.

Я собрала себя по частям и, пошатываясь, пошла к выходу. Трубачев шел за моей спиной и нес мои туфли. Было уже около трех. Фонари горели мертвенным блеском. В парк прошел троллейбус. Я могла пройти пешком, но с Карповки выехало такси и взвизгнуло, тормознув у тротуара.

- На ту сторону? Не успеем!

- Может, попробуете?

- Я поеду, но не обещаю.

Мы понеслись по Кировскому подо все светофоры.

- Успеем?

- Да какое там, вон уже елдырь встает. Теперь только через Володарский мост.

Меня вдруг как током дернуло.

- Вы можете остановиться у телефона?

Я снова набрала номер.

- Герка, это опять я. Только ты не ври! А он БЫЛ здесь?

- Был.
- Сколько времени?
- Три дня.
- И ты его видел?
- Да.

Как просто все. Спокойной ночи. В такси было накурено и темно. На Кировском мосту уже стояло несколько машин. К нам в окошко постучали:

- Эй, Баранкин, поедешь на Комендантский?
- Не видишь, занят, - огрызнулся мой шофер, не поворачивая головы.
- Тебе же все равно стоять!
- А куда я барышню ссажу? - и обратился ко мне. - Так стоять или через Володарский?
- Стойте. Сведут же его когда-нибудь. Я сумочку тут оставлю, пойду на мост посмотрю.

Шофер ничего не ответил и положил голову на руль. Я прошла за заграждение и подошла к самому краю моста. Два буксира на растяжках проводили вверх по течению длинную баржу с горой песка. На палубе, переплетя ноги, стояла женщина в ватнике, и около нее лежала непородистая шавка. Больше никого не было видно. Белье на веревочке сушилось: узкие простынки и детские ползунки. С женщиной я встретилась глазами, она была года на три моложе меня. В песок можно было с моей стороны оттолкнуться и прыгнуть - ничего бы не стряслось. Я вернулась в машину.

На счетчике было около двух рублей. Проснулась я уже утром. Как я домой добралась, я не помню. Ничего не помню. Выглядела я ужасно - лицо асфальтового цвета.

Глава двадцать вторая ОТ АНДРЕЯ

В самолет вел голый складной коридор. Люди по нему шли не очень еврейские. Два здоровенных американских негра деловито на ходу подправляли джинсы, а за спиной моей сплошным потоком двигались несомненные японцы, и я, на всякий случай, проверил надпись на билете. Японцы быстро и весело расселись, их крепенькие жены отбросили подлокотники и устроились босичком досыпать растерзанную ночь.

Рядом со мной руководитель японской группы держал на коленях гору паспортов и составлял длинный розовый список. Веки слипались. Мне передалась общая сонливость. Небо над Европой постепенно начало сереть. Когда я закрывал глаза, по телу пробегал дурманный ток и мимо меня начинали проноситься завитушки и обрывки рифм, стихотворных осколков и ядер. Их можно было пощупать и записать. Плохие рифмы принадлежали мне, а хорошие попадались по ошибке, и их нужно было выпускать обратно. "Я весь день писал стихи, путал "Доджик" с дождиком, с голодом пустой живот, сапоги с сапожником...", "В окошко улица видна: шериф, пожарник, склад зерна, кареты стук...", "Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным..." - лети; что-то про самураев - это не ко мне (налево! налево!), "...и сплю я тревожно Германию всю" - начало прослушал, "что-то там квартал, и я оставляю в тайне, куда я на три дня летал из Франкфурта-на-Майне". Во Франкфурте жареные сардельки в ларьках были вкуснее голландских и мудрено назывались "колбассен".

Из такого слова Андерсен мог бы сочинить целую

аппетитную сказку.

Когда я открывал глаза, рифмы исчезали. Тогда я тоже сбросил туфли и попытался настроиться на японский поток сознания, но у меня ничего не получилось. В уме сложился китайский ресторан в американском чайна-тауне и жареная, но почему-то живая утка. Потом снова бесполезные клочки: "для них пляши - нас будят криками индейцы-алкаши" и "в город, куда больше нету пути" - начало опять прослушал.

В активе была женщина, которую я бросил. А в пассиве было, что я ее все еще люблю и она вышла замуж. И три часа полета для того, чтобы от этого освободиться. Я выйду из этого самолета и больше никогда о ней не вспомню. И в памяти не останется следов.

Я достал свою дипломатку и вынул из нее пожелтевшую ученическую тетрадь. Но сначала я внимательно прочитал надписи на обложке: законы пионеров Советского Союза и адрес московской фабрики "Восход", Олсуфьевский переулок, дом 10, год и артикул. Артикул и колбассен не рифмуются. Жили были два друга - Артикул и Колбассен.

В самолете делали объявления на трех языках, один из которых был английским, а один из двух оставшихся, наверное, ивритом.

Японец с каменным лицом смотрел вперед и мне не мешал, я поплюнул палец и открыл первую страницу.

Мороз три ночи кряду.
Подвал мой леденя,
Надежно ты, Канада,
Упрятала меня.
И скудные зарубки
В твоём календаре:
Забытый голос в трубке
И письма в январе.
Разлуке где завещанной

Незримая черта?
Но Пулково зловещего
Не раскрывает рта...

и так далее.

Режь по живому. Нельзя оставлять никаких долгов, а любовь - это долг. И связывает и меня, и ее. Мне никто не нужен. Следует это хорошенечко запомнить. "Зловещего рта" - была первая зима в Канаде, в городе, где за зиму было по пятнадцать весен. Горячий воздух спускался в мисочку, окруженную холмами, и все оттаивало. И сразу выяснялось, что это не зимой в этом городе нечего делать - в нем вообще было нечего делать.

...Я в офисе: "Какой подлец накапал?!" -
Под писсуаром ночью пятна тру.
Давно ли, сэр, швырял ты скальпель на пол,
Сердясь на подающую сестру...

Мне было интересно испробовать все эмигрантские работы. До сих пор остается сильный осадок, что мне так за жизнь и не довелось вымыть груды ресторанной посуды. В ресторане я входил в социальную группу номер восемь: я возил мрачную оцинкованную бочку со сложным раствором для туалетов и вмонтированной системой для отжимания квача.

Через два месяца я стал замечать, что вырабатывающееся на этой службе выражение лица - смесь высокомерия и ожесточенности на фоне малайской фисташковой желтизны - начало фиксироваться. Я не предполагал, что работа накладывает такой отпечаток на внешность. Существенно новым был страх, с которым, громяхая бочкой, я стучался в женские туалеты на каждом из этажей. Это было больше меня - pitfall, волчья яма сексуального маньяка. Розовые пятна на полу открывали тайники, ажиотации в норме недоступные.

От порыва ветра и от взгляда
Ты, глаза ладонью заслоня,
У ворот Юсуповского сада
Встретишь виноватого меня.
Моего не слушая вопроса
И мотнув изящно головой,
Ты мне снова "нет" напишешь косо
Мелом...

И приписано: "Когда тебе год не отвечают на письма, пропадает желание писать. Сначала я думал, что она моих писем не получает. Пустота не временная, а как пережил всех родных и уже поздно заводить новых".

На вершинах Альп уже был снег. Хотелось взять две пригоршни и потереть им морду. Над Италией полоса дождей кончилась. Мы летели над морем, над темными разбойничьими островами с глубокими сабельными шрамами - от виска до подбородка. На тележке развозили напитки, я выбрал сок и не ошибся. Стюард забрал стакан и обещал завтрак. Читать уже не хотелось. В иллюминатор был виден длинный танкер. Может быть, наш. Острова - кляксы. Кипр. Греция. Или Турция. По Турции проходит Пулковский меридиан. Нет. Турция левее. Продукция Олсуфьевского переулка все еще лежала у меня на коленях, страничка была для Дашки: в ту зиму и весну я работал шофером. Какой же это год? Все уже сбилось. Год, когда на смотровой площадке у "Крайслера" побито градом все новенькие машинки.

...Сигара, темные очки
И шляпа на затылке:
Из леса в парк вожу дички,
Звонящие бутылки
(они "сдаются" без борьбы),
Потом везу кусок трубы,

Забор, лопаты, тачки,
Бычка, кухонную плиту,
Газет четыре пачки...
Пора признаться: "Борода,
Ты что-то едешь не туда!"

Грузовичок у меня был маленький, уютный и трехтонный, но в центре города, в Даун-тауне, даже небольшой грузовик запарковать было очень сложно. Приходилось делать круг за кругом, пока не освобождалась маленькая щелка, или ставить его вторым рядом, с огнями, и бежать запаренному с каким-нибудь ящиком или с цветным телевизором, рвать из рук у секретарши подписанную накладную и успевать к машине, когда ее уже обнюхивала полиция. Подклеено письмо от Дашки и в нем Дашкино стихотворение:

Мне не уснуть -
Я днем спала,
Так голова кружилась,
Жаль, книгу на ночь не взяла,
Не помню, как ложилась...

Даша, девять лет.

И внизу про школу и что она кончает "Трех товарищей":
"..Ленца убили!" Принесли горячий завтрак. Я взял с подноса пластмассовый нож, разжал олсуфьевские скрепки и вынул из тетради середину, потому что середина была написана ей. А "её" на свете больше не было. Тетрадка стала худенькой и строгой. Под ногами лежала приоткрытая сумка японца, и, пока он бегал по самолету, я по ошибке сунул четыре ученических листа на дно глубокого бокового кармана. И с плеч ушла тяжесть. Остались всякие молодецкие вирши, которые никого не задевали и не грели. Даже и не стихи, а стихи-письма дочери.

Шагаю один по обочине пыльной
С улыбкою глупой, с надеждою сильной,
Несу на себе инструментов полпуда,
А стройка моя миль сто десять отсюда.
В ущелье лесном, как разбойник из сказки,
Я стану рабочим в оранжевой каске...

Все было намного прозаичнее: сидел вечером у знакомых из Душанбе, и весь вечер с Раисом жрали водку. А его жена разбирала старые вещи и наткнулась на свою марлевую маску. Я взял эту маску и завязал ее - под уши и на макушке, я не любил завязывать маски на шее. Валька расплакалась: она раньше работала заведующей анестезиологическим отделением в республиканской больнице, и запах с маски за два года еще не выветрился. Я тогда работал в Банфе, горном курорте рядом с Калгари - что за черт, ни в одном городе я не смог дожидаться Олимпиады! Я висел целыми днями на поясе и вязал арматуру, а над строящимся водохранилищем пролетали вертолеты с раскачивающимися сетками, и я жалел, что рядом нету Дашки: мы работали в заповеднике, и в сетках перевозили потревоженных бульдозерами гризли. И для Дашки были горы и гризли.

Холодное утро, и час еще пятый,
Иду я. растрепанный, грязный, помятый,
Попутки ловлю большим пальцем руки,
Металлом обиты мои башмаки,
И сам я стальной - мои мускулы троньте,
Жаль только - машина моя на ремонте...

Точнее, не машина а оба-два одра, "Форд" и "Олдсмобиль" десятилетней давности стояли на приколе вдоль дома, и нужно было покупать третью - меньше и новее. А эти майна-вира и на свалку. На следующей странице был уже нормальный

сухой голос американского функционера, которого я добивался.

Давно из всех глагольных форм
Я верю только в present.
Мы по weekend'ам (я и форд)
Какой-то ищем crescent,
Поставив крест на "пустяке" -
На всех, на жизни данной,
Чтоб на канадском языке
Кого-то трахать в ванной.

И дописано: "Нескладная жизнь, даже жениться нету мочи".
Когда же все это происходило? Я помнил, что ездил в столицу провинции говорить с медицинским консулом. И в обратном автобусе я два раза поймал женский взгляд и сел рядом. Было уже очень поздно. Или темнело рано. Часа два мы молчали. Было только какое-то ерзанье. А потом она положила мне голову на плечо. Так это началось. Позже рыжая канадская девчонка сказала мне, что я был невероятно напряженным. "I thought you are German".

Опять про Канаду, про которую я уже ничего не могу слышать.

Случилось это исподволь, не сразу,
И город ведь, попал я не в "дыру":
Проходит день - не только целой фразы -
Я к вечеру двух слов не наберу...

И в том же духе письмо Косте Нестерову:

...Тоскуем все, и жить начать бы заново,
Вернуться на Васильевский в КаБэ,
К ребятам вечером ввалиться в дом в Чертаново,
И греться у сангала в Душанбе.

Россия та, пожалуй, ближе к Богу,
Как "Беломор" честнее, чем "БэТэ",
Зубрим язык, нет времени на йогу,
И денег нет на школу каратэ.
И не живешь, а так - в потемках шаришь,
Вот вырвались, казалось, из оков.
Считаем деньги, водку пьем "tovari'sh"
И долго материм большевиков.
Работы - нет, с любовью туго плотской...
Не торопись! Целуй своих, пока.
Р. S. Сказали мне - в Москве погиб Высоцкий
И Саня Якушев ушел из "Спартака".

Было еще что-то из "юношеской лирики", но меня это уже никак не трогало. Никак.

Я так хочу, Канаду сдув, как пену,
(Очень свежее пивное сравнение)
Тебя с трамвая встретить на Сенной...
(Не могу вспомнить, почему именно на Сенной)
О, Господи, какую просишь цену,
Чтоб эта женщина всегда была со мной?!
(Японец уже, к сожалению, вернулся на свое место)

Приписано:

"Я переоценил свою независимость от нее. Есть типы привязанности, напоминающие наркоманию: не отнять. "Я ее люблю" на письме выговаривается через силу. Хоть пора себе в этом признаться. Чтобы не обращать на нее внимания, мне нужно иметь ее на расстоянии вытянутой руки. То ли полменя, то ли привычка?"

Не то и не другое. Любовь - это управляемый мною процесс. Моя шкура затягивалась прямо на глазах. На последней странице было посвящение Петербургу:

"Навсегда" - восемь букв.
Не постигнуть сразу,
Уехали - ухнули,
Не закончив фразы,
Не успев попасть
В анналы и титры,
Только яда всласть
От твоей палитры.
Ты пугаешь - страшно,
И ты бьешь - мне больно.
Я, твой раб вчерашний,
Не поверил "вольной":
Без твоих цепей
Ни фиест, ни буден...
Отпусти, скупец,
Ни себе ни людям.
И любовь, и смерть -
Все твоею мерой.
Твой холоп, твой смерд,
Кардинал мой серый.

.....
Задохнусь в панегирике,
Как в готическом шрифте.
Я тоскую по лирике,
Нацарапанной в лифте.

И еще одно чрезвычайно смешное стихотворение,
кончавшееся словами:

"... дотронуться до Вас
и умереть".

Я дотронулся. И не умер. Я съел курицу и начал
высматривать в иллюминатор африканское побережье.

Глава двадцать третья ОТ АНДРЕЯ

Как вишни расцвели!

Они с коня согнали

И князя-гордеца.

О.Исса. С японского.

Конец восемнадцатого века

Сначала показалась тонкая полоска, поясок на яркой небесной рубашке. И она долго не приобретала объема. Будто на плоском голубом панно они наметили себе узкую щель земли. Мой японец схватился за камеру и начал очень часто фотографировать.

-It remains me of kamikazi flying along at wave level on their way to the target. (Это напоминает мне камикадзе, летящего к борту авианосца вдоль волны)

Японец вежливо улыбнулся.

- Do you know what I mean? (Вы понимаете, что я имею в виду?)

Японец кивнул.

- American aircraft carrier is not worth sacrificing the cream of Japanese manhood. (Нет смысла уничтожать цвет японской нации из-за американского авианосца).

Японец еще раз вежливо улыбнулся и начал копаться в своей сумке.

Всё-таки большая удача, что я не японец.

У берега болталось несколько цветных парусов и точечные макушки купальщиков. И белый город. Как угадать город, в котором выпадет умереть? Этот был, на мой вкус, слишком белым.

Самолет приземлился, и его снова оцепили автоматчики. Не полиция - армия. Так я себе представлял Родезию: джипы,

пальмы и автоматчики. Но меня интересовали лица. Никогда бы я не принял этих мальчиков за евреев, скорее греки. Смуглые, сухопарые солдаты с пилотками под погонами и такие же воронята-девчонки в формах на пропускном пункте. Я ущипнул себя за ухо - занесло же меня, я нахожусь в мифическом Израиле - вот он. Таможня меня даже не осмотрела. На улице начинало печь. Таксисты расхватывали пассажиров - меня увлек за собой нагловатый разбойник, назвавший меня "мистером", и я ему ответил: "Мне в Гагры". А он засмеялся золотым зубом и сказал по-русски с акцентом: "Сделаем, дорогой. Как угадал, что я с России?" - "Чутье". И мы поболтали по дороге о том и о сем. Место называлось Рамат-Ганом, я расплатился канадскими долларами, и шофер их принял. "В Грузию-то не хочется вернуться?" - спросил я, вылезая из машины. "В Грузию не хочется. В Ташкент хочется", - сказал он и уехал, а я обнаружил себя около трехэтажного дома без особенных затей. Стены и крыша на восьми куриных ножках, вероятно, от наводнения. Я поднялся на последний этаж - дверь была закрыта. Тогда я уселся с вещами на маленький заборчик во дворе и начал раздумывать, что мне делать дальше. Пожилой араб в косыночке цементировал на корточках забор. Куда ж нам плыть? Было еще достаточно рано. "За окошком света мало, белый снег валит, валит..." - нужно где-нибудь оставить вещи и отправляться на поиски. Почему же я из Амстердама Борьке не позвонил? Дешевый любитель сюрпризов.

Тут я заметил, что с ближайшего балкона меня внимательно разглядывает пожилая женщина. Была не была.

- Экскюз ми, Далинский. Бо-рис Да-лин-ский. Шпрехен зи дейч?

- В седьмую квартиру зайдите, она должна знать, - ответила она. В руках у женщины был заварочный чайничек, из которого она поливала кактусы. Второй встреченный человек

говорил по-русски. Чудеса.

И я еще раз поднялся наверх. В седьмой квартире жила довольно молодая женщина, не толстая, а какая-то расплывшаяся, в России таких зовут "распустехами". Мы объяснялись под младенческий вой, и то, что я слышал, меня особенно порадовать не могло: Борька с женой разошелся, служит на севере, в Тель-Авиве бывает редко. Год назад у них умерла дочь, про которую я, к стыду своему, вообще ничего не знал. Я оставил вещи, обещал прийти за ними вечером и взамен получил бумагу с двумя адресами и Борькиным домашним телефоном. Борькина жена переехала на соседнюю улицу, домой возвращается в семь часов вечера. На правах бывшего родственника я решил к ней вечером забежать, может быть, она еще какой-нибудь его адрес знает. Не такой уж этот город и белый. Разошлись. Невеселая история. Мою племянницу звали Елизаветой, было ей два года.

Человек родился, и вдруг в два года он умирает. Или в тридцать шесть. Невеселая история.

До вечера я свободен, город отдается на разграбление. Надо было в чемодане взять плавки. Куплю.

Меня не покидало ощущение странной улицы - обычный европейский квартал: каждый метр на лавочках - угловые, тесные, овощные, обувные, но чего-то не хватало.

Ага! Не хватало окон. Жалюзи, жалюзи, жалюзи - ни одного окна. "За окошком света мало..." - привязалась ко мне с утра эта мелодия.

Машинки после американских казались игрушечными - "пежо", "фольксвагены" и "фиаты". Еще какие-то причудливые коробки с обводами "бабочкой". Я зашел в прохладный банк и поменял деньги: денежный калейдоскоп продолжался, пачку вручили не такую яркую, как в Голландии, но зато еще толще. Теперь можно купить плавки и залезть в море. И не вылезать до семи вечера. Квартиру сниму

у воды, с полным пансионом, буду ходить на пляж, думать о вечном и чинить хозяйке пробки. Что еще должен делать мужчина в доме? Я давно не был мужчиной в доме. И о вечности все было не подумать. А смерть и жизнь - это равные переходные состояния. Одно не лучше другого. И мне уже давно не два года. Я посмотрел, где я нахожусь - "Жаботинского", - легко запомнить, я знаю целых двух, потом по этой аллее и налево. Можно садиться на автобус. Движение в городе было довольно плотным. Водитель в маленькой бархатной кипе, прикрепленной к плотной, как битум, проволочной смоляной шевелюре, на ходу принимал деньги, курил, отрывал билетки, болтал, рулил и подкручивал транзистор. Я неловко пробрался в середину автобуса - все-таки казалось, что на меня косо поглядывают - и обомлел: в круглой собольей шапке, лакированных штиблетах и высоких белых носках, в которые были заправлены брюки, сидел вылитый Гришка Липовецкий с длинными закрученными пейсами, а рядом расположилась бесформенная особа, совершенно точно не Ленка, в парике, шелковых чулках и с необъятным кисельным тазом, и человек восемь детей в белых рубашоночках и с такими же, как у папы, висюльками. Четверо младших сидели на руках и сосали разных форм бутылки и соски. От родителей несло тропическим жаром. Но это еще не все, в автобусе была такая мешанина, что можно было обалдеть! Вертлявые школьницы, прибранные мальчики в кипах, с узкими лицами молодых Пастернаков, три пятнадцатилетних господинчика в шелковых черных костюмах и оперных цилиндрах, девушки в драных шортах, женщины в шелковых платьях, трусах, душных париках, корсетах. На заднем сиденье солдат обнимался с подружкой в военной форме, а две стоявшие рядом старушки, которым никто не уступал места, доброжелательно на них посматривали. Ехало несколько стариков, состоящих из углов,

с выправкой бывших военных, две девчонки с пилотками под погончиками и пропечатанными под гимнастерками крошечными сосками, автоматчики-резервисты с круглыми животиками.

Автоматы валялись под ногами в проходе, и вид этих солдат меня неожиданно успокоил: в Союзе я чувствовал себя ровесником сначала капитанов, потом майоров, подполковников, а сейчас я уже приближался к генеральскому возрасту, а этим трем пузатым обжорам явно было под сорок.

Автобус раскладывался на составные части: на высокие армейские ботинки или мохнатые кисти рук, на мертвые парики, на голые ноги с проступившими венами или на жемчужные мелкие зубки девчонок. И вся эта улыбающаяся, курящая, жующая, потная, кудрявая толпа, с кистями из-под костюмов и волочащимися сандалиями, автоматами под ногами, с прилипшими к губам лушпайками подсолнухов, с синими прожилками и форменными сосочками, облепленная детишками с выбритыми лбами, - была абсолютно беззлобной.

Автобус проехал над высохшей речкой - оставалась узкая, мутная струйка, мимо пустырей, развалившихся халуп, двадцатипятиэтажных башен, пахло глубинками Петроградской стороны, постройками тридцатых годов, тенистыми улицами.

Мне надоело ехать, и на одной из центральных улиц я вышел. Ленты, кружева, ботинки - библейскими буквами. Настроение было не тяжелым, скорее странным. Не было внутренней спешки, мне наконец удалось согреться, и я опять был совершенно один в мире - компания очень надежная, но несколько малочисленная. Я посидел в уличном кафе, выпил две большие чашки кофе, поглазел, как в школьном дворе мальчишки в кипах играли в футбол. С мячом они обращались очень хорошо - в техничной и мягкой закавказской манере. В голову лезла всякая чушь - я вспомнил, как мы с Мишей Джанишвили смотрели футбол в Тбилиси, когда "Динамо"

жутко проигрывало "Арарату" и народ толпами покидал трибуны, выбрасывая годичные абонементы. Пока мы садились в машину, армяне забили четвертый гол. Дома нас встретила Мишина бабушка-армянка и сказала: "Ну что? Надрали вашим жопу?" "Пригрели змею!" - недовольно ответил Мишин отец.

Пляж был полупустым. Вода - горячей. Балтийский песок и дно как тетрадь в линейку. За пару монет я взял шезлонг и уселся. Парень, который выдавал шезлонги, обрюзгший детина с набитым ртом, был точной копией Вовки Беззубенко, анестезиолога из Института онкологии. Густовато двойников! Два за час. Если так пойдет дальше, то как бы не повстречать себя.

Я купался и сох. Снова сох и снова купался. Шлялись стайки голубей, по кромке моря трусили бегуны, яркие паруса загорались и снова в воде гасли, и так до момента, пока солнце не покраснело и не начало заваливаться вниз. Тогда я опомнился, по дороге перекусил и пошел обратно на автобус.

Хороший день. Ужасно хороший день. Мне удалось расслабиться. Я доехал до нужной остановки, уже стемнело. Город пузырился огнями, шумел, смеялся. Может быть, я и вылезу. Я ведь все вру: я чертовски хочу жить. Громадные чинары над моей головой переплелись ветвями. Тугой дурманный воздух, запах зелени, фонари на аллее, плиты под ногами. И по каждой плите ногам хотелось пройти.

Было чувство стыда за охватившее меня счастье. Впереди шла высокая длинноногая женщина в свободном снежном платье, перехваченном широким мягким поясом. Такого снега, который выпал секунду назад, жжет язык и белее белого. Я вдруг вспомнил, что на свете есть женщины вот с такими нежными движениями, с абсолютно ровными и, нет слова, с точными - ногами, гибкими бедрами. С таким угадывающимся сумасшедшим профилем. Поправляют матовые волосы

лебединой рукой. И если они не понимают моего языка, то, как снежинки обжигают язык, я смогу объяснить знаками.

Я удержал себя от того, чтобы ее догнать, шагнул в сторону, в лиловую тень, к скамейке, сел и засмеялся. Я увлекся. Рядом со мной два старика спорили и кашляли на идише. Я за гранью... и я один... но я сравнивал со всеми счеты...

Я жив. И буду жить, пока я хочу. Пока меня доводит до дрожи то, как женщина поправляет прическу. Темнота впиталась в меня - только пылали на руке фосфором мои старые "командирские" часы. Я отвык от цивилизации, мне еще долго все будут казаться красавицами, как эта белая лань с короткой мальчишеской прической и высокой шеей, которая таяла в воздухе, стала плоской стереоскопической картинкой и исчезла.

Я сейчас возьму свои вещи и остановлюсь в самой дорогой гостинице на побережье, чтобы Средиземное море дышало в окно. Жизнь возвращалась. Я пошел разыскивать Борькину жену, и мне было так страшно хорошо. Я даже пытался плыть по воздуху, как эта молодая женщина, у которой голени и бедра были одинаковой дразнящей толщины, но плыть не получалось, а получалось смеяться над собой, над смертью, над жизнью. I am retired. Не знаю, как перевести. Не на пенсии, а в отставке. Наконец я нажал кнопку звонка, и кто-то стал открывать мне изнутри. Нужно было купить цветы, но я стесняюсь цветов, когда у людей несчастье, у моих родственников, о которых я мало знал.

Лестницу залило светом, и я остался стоять на площадке, а женщина, которая мне открыла, тоже молчала и недоуменно ждала. А я ничего не говорил, и с каждой секундой заговорить было уже труднее и поздно. И я только покраснел - это единственное действие, на которое у меня хватило сил. Она улыбалась одними глазами, но мне казалось, что она занята своими мыслями и ждет, пока ситуация прояснится и я уйду.

И дело было не в том, что эту женщину в белом платье я догонял десять минут назад в аллее, и дело было не в том, что у нее были голубые белки и она была обжигающе неприлично красива, так что у меня язык прилип к гортани и даже улыбнуться в ответ я не мог, и даже не в том, что это была Борькина жена, которой я волен был представляться деверем или нет. Дело было в том, что я эту женщину уже видел и узнал, а она меня нет, и вымолвить, что я Борькин брат, я не решался. Так вот на ком он женился.

Я когда-то отдыхал смену у Борьки, в альплагере, и там по камням и скалам носилось что-то такое девчонского пола, переставляя по щенячьи руки и ноги, так что каждая рука и каждая нога двигались отдельно. Дочь одной из лагерных инструкторш альпинизма. И было однажды, что мальчишки-балкарцы привели в лагерь двух коней, и я взял одного из коней прокатиться, и эта девчонка, которая всюду вертелась, выпросила второго, обогнала меня и ее понесло к обрыву. И я заметил сначала, что это нелепое восторженное существо с широкими, чуть сутуловатыми плечами на фоне гор, Шхельды, снега и неба размахивает руками, ногами, отчаянно оборачивается, и знаете что? И смеется. А потом я уже спохватился, догнал и грубо обругал ее, потому что картина была слишком внезапной, как стихия, и мне не нужно было на мою голову свалившихся в пропасть девчонок. И, наверное, она никуда тогда не свалилась, потому что она стояла напротив меня, и молчала, и не была двойником, а на грудь, плечи и шею я старался не смотреть.

Действительно, ту девчонку звали Наташей.

Красавицы вызывают у меня безумный страх.

И она была женой моего брата.

И у них случилось несчастье. И вмешиваться в их жизнь я не мог.

I am sorry. It`s mistake.

Она еще раз улыбнулась, недоуменно пожала плечами. И закрыла дверь.

Глава двадцать четвертая ОТ ЛЕНЫ ЛИПОВЕЦКОЙ

*И от Цезаря далеко,
и от вьюги.
Лебезить не нужно,
трусить, торопиться...
Иосиф Бродский*

Я хочу добрать ночные часы сна. Лежу, и хочется отгонять мух хвостом. Я даже не чувствую, что жмет купальник. Вода лижет пятки, каждая девятая волна передвигает бахрому морской пены и подбирается к животу.

Осень. Мы четвертый день в заброшенном каштановом ущелье под Сухуми, где в это время года, кроме нас, никто не стоит. Мне повезло в жизни, все, кого я люблю, рядом со мной. Почти все. И все такие невыносимые, такие неудобные для жизни люди.

Машин нет. Даже радио нет. Так здорово! И безумное количество животных - драных котов, диких и бездомных собак. Брынзу и колбасу приходится в котле подвешивать на дерево - по утрам под ним бешено пляшут шакалы. К ручью из-за шакалов страшно ходить за водой, от нашего одиночества они смелеют, вечером воют, а под утро начинают бегать по лагерю. Мимо пробрела корова. Жует водоросли. Бреди, бреди! Сейчас появится ленивый пастух на лошади. Скажет: "Ыык". Здесь живет симпатичный несуетный абхазский народ - женщины работают, а мужчины курят на улице и оценивают проходящих по тротуарам курортниц.

Медузу вынесло на ступню, громадную, больше чайного гриба. Хорошо бы она не жалилась. Я ей не враг, я ее

обмякшая сестра.

Гриша побежал на базар и на почту. Потащил с собой мешок каштанов - будет менять на масло. Остальные все встали посреди ночи с чумным видом и отправились грабить фруктовый сад на "цэковской" даче. Кит не пошел, как лицо поднадзорное. Он ходит с видом сосланного на Кавказ поручика, в красных трикотажных плавках и высоких резиновых сапогах, и не очень понимает, на каком он свете.

Если дотянусь до сухого листа, нужно прикрепить его слюнями на нос, а то нос опять обгорит. Кроме того, что я медуза, я еще исполняю обязанности матроса-спасателя. Каждый, кто хочет купаться, должен меня разбудить, и я сплю по-волчьи: свернусь клубком на десять минут, посторожу детей и снова сплю. Сначала дети по очереди отпросились не делать уроки - на обеденном столе, сделанном из санаторного топчана, лежат кипы "задания на утро". Родители вернутся - будут ругаться: "ничего от них не требуешь", "они должны учиться работать". Но мне математику все равно не проверить, Севочка со второго класса на меня кричит, что я все неправильно объясняю. Наверное, я не совсем доразвитая. И учиться "работать" никому не нужно, и учить этому не нужно. Нужно учить любить людей и учить радоваться, а остальному дети научатся сами. По стволу красного дерева ползет бурая жаба - я закрыла глаза, чтобы ее не видеть, она сама не знает, какая она некрасивая. Мальчишки вместо уроков обещали выкопать сегодня, наконец, "клад" - наше прошлогоднее барахло. Важнее всего там котел для плова, большой топор и двуручная пила. Вдоль всего побережья скелеты брошенных туристских стоянок, врытые столбы с вырезанными деревянными мордами - нужна пила, скоро кончатся дрова. Кит пошутит про монотеизм, и мы начнем пилить идолов.

Мы - это семнадцать взрослых и одиннадцать детей. Лето опять пропустили, уже октябрь. Днем еще можно дуреть от

жары и собирать опять с гниющих пней, но по здешним меркам уже зима. Ночью холодно, я сплю в трех свитерах. От костра не отойти. Ночью Кит поет у костра воровские песни про громил. Про "баб на мясозаготовку, девок в облигацию". И про любовь. Первую неделю все оттаивают от Ленинграда. Постепенно я начинаю чувствовать, что вокруг что-то происходит. Я боюсь вникать. Вслух ничего не говорится, но я вдруг замечаю, что какая-нибудь неожиданная пара столкнулась в сумерках лбами. И всех начинает сильно лихорадить.

Севочка и Даша Далинская третий час моют посуду: свалили в кучу гору мисок и тарелок с надписью "20 лет РККА" и ловят ими мальков и крохотных крабов. Метрах в двухстах от меня в воде "дрызгаются" кладоискатели, они начали сегодня очень резво, быстро окунались, не выпуская лопат, а сейчас уже выдохлись и не спешат. С каждым годом мы закапываем все больше вещей: штангу, сковородки, керосиновые лампы, но где-то на плане есть ошибка. Зарыто в одиннадцати шагах от инжира, но меня путает деревянная постройка, которая в блокноте значится, а ее, скорее всего, сожгли абхазские мальчишки, которые всю зиму отстреливают на берегу одичавших поросят. Их тут орды, этих мальчиков с горящими глазами. Только следи.

В лагере нас сегодня трое взрослых. То есть взрослых одна я: у Анюты Волковой болит голова, а Кит - это наказание, а не "взрослый". У меня щемит сердце, когда я на него смотрю. Живет в одной палатке с Надей Арциковой - ужас охватывает, что будет, если Кит опять влюбится.

Моя младшая дочь безутешно сгорбилась на бревнышке у палатки. Не хочет подходить. Она описала ночью спальник, и я ее подшлепнула. Не больно. Но она очень оскорблена.

Хорошо бы отсюда совсем не уезжать. Построить дом и ничего не закапывать. Стукаться лбами. Еды хватит на год.

Одних макарон от туристов осталось шестьдесят кило. Каштаны, орехи, рапанов можно есть. Ходить за вином, книг завались. Надя Арцикова занимается с детьми английским. Купаемся голыми и почти не ругаемся.

Я, на всякий случай, постучала по дереву, а грустная жаба всполошилась и с криком шлепнулась в ручей. Одним глазом я наблюдала, как из серебристой палатки вылезает Нестеров: мелькнула голова, оскаленный рот, необъятные плечи и весь этот непутевый человек.

- Сво-бо-да!

- Кит! Беги скорее купаться, на огне овсянка и кофе.

Но он сначала согрел себе воду в консервной банке и начал бриться у осколка автомобильного зеркала. Бич божий! Саврас без узды! Насмешливый, обаятельный бабник. Но сам он зато никогда никого не осуждает, и если что-нибудь случается, то на него очень хорошо можно облокотиться.

Я задремала и проснулась оттого, что он пощекотал мне пятку и спросил, кого можно взять за дровами. Так нежно дотронулся, негодяй. Я сразу вскочила, зачерпнула ладошками воду и плеснула сначала на себя, потом на него. Я не переносу, когда касаются моих пяток, колен и вообще. И придерживают при этом руку. А представить нас на день мужем и женой, окруженными выводком детей, я тоже не могу. Хорошо еще, что нас никто не видел. Меня бы задразнили.

- Нестеров! Вот что значит жить с Надеждой в одной палатке - спишь до полудня и хватаешь посторонних тебе женщин за ноги. За дровами бери всех - я уже от них устала. Ну, чего ты?

Через час я заметила, что Кит зачем-то среди дня начал разводить большой костер до неба. Он стоял на коленях, по очереди с мальчишками раздувал вчерашние угли и что-то им рассказывал. Я немного потерпела, но все-таки не выдержала, обмотала себя полотенцем и подошла к костру.

- ...Но на этом берегу происходили и другие истории, интересные для серьезных кладоискателей: вот на этом месте, где обрывается дорога и обломки скал торчат из воды, как стелы, на три дневных перехода обгоняя передовые когорты римлян, выходил к Понту Эвксинскому Митридат Шестой, царь Понтийского царства...

Нестеров заметил меня, похлопал меня легонько по бедру и сказал: "Иди-ка ты, мать, оденься, предстоит педагогический эксперимент". И я, как дура, пошла. Я никогда ни с кем не целовалась, только с Гришей. Но меня тоже легко, наверное, затянуть в их водовороты. Он второй раз меня сегодня касается, и второй раз у меня начинается помрачение в голове. И он оба раза это заметил. Я тепло оделась, подошла к Киту сзади и сказала: "Еще раз до меня дотронешься, я с тобой сильно поссорюсь!" - но он сделал вид, что не услышал, и продолжал рассказывать: "...третью войну проигрывал Риму. Митридат сделал маленькую ошибку, и она привела его к ошибке побольше, а потом постепенно каждый шаг становился ошибкой, и только между ошибками приходилось выбирать. Ему следовало атаковать римскую колонну на марше, а он дал Помпею окружить себя, и хоть Митридату с небольшим отрядом удалось прорвать ряды римлян, но младший его сын уже здесь, в Колхиде, был убит, а Фарнак, сын его любимой жены-албанки, бросил его седьмого дня ночью. И Митридат пробирался по своей земле, как ночной вор. За его голову уже дважды была объявлена высочайшая награда - и римлянами, и предавшим его армянским царем Тиграном. За неделю Митридат сменил четырех коней, раздал драгоценные одежды телохранителям и наблюдал вон с той скалы, как римский флот приближается к берегу. Ноги у Митридата знаете какие были? Как столбы! С шести лет в походах. В одиннадцать лет - царь! Подряд пятьдесят лет - царь! Понимаете? Море черно от римских галер. У него очень

болела спина, было не разогнуться. Телохранители зарывали около того инжира царские сокровища глубоко в землю, поглядывали на Митридата и недовольно хрюкали. Но Митридату было не до них. "Спина болит, - думал он, - завтра велю изловить ведьму, пусть натирает спину змеиным соком. Не повезло. Девятнадцать дочерей, ни одной путной. И три сына. Один - кретин. Второй меня бросил. Третьего разорвали в клочья, нечего было хоронить. Что там врать, я любил второго. Ушел, собака, к албанцам, всех греков с собой увел. Трех центурионов увел, которых мне прислал из Испании Серторий. Подрос, скоро двадцать, я ему мешаю, никого не любит, равнодушная собака, настоящий будет царь, страшнее меня. Глубже копайте! Опасно оставлять свидетелей, потом буду на себе волосы рвать, но самому, хоть умри, будет не вспомнить, куда они эту дребедень закопали. Приличную армию можно собрать не ближе Тавриды. Это еще месяц пути. По дороге ни одного цивилизованного племени. Правлю страной животных, ковыряются в земле и поют. Может, Фарнак и прав: следует пустить сюда римлян, все равно они не отступятся. Войне конца не будет. По всей логике так и нужно сделать. И против этого только моя честь - совершенно нелепое понятие, даже родным детям не объяснить. Когда я слышу слово "римская культура"... да..." Митридат стоял и вспоминал, как учил своего сына стрелять из лука и говорить по-иберийски. И очень на себя за это злился.

Считается, что отсюда в свои боспорские владения Митридат Шестой, Евпатор, ушел один. Половина его драгоценностей зарыта здесь, и их никто никогда не видел. Боюсь, что они глубоко и до них не докопаться, но вот посмотрите, что я вчера нашел около этой ямы. Стоп, руками не цапать. Называется бронза. Держишь вот так, двумя руками, и никто не страшен. Песок внимательно проверять, а вы копаете безо всякого толку. Берите-ка лопаты, покажу-

покажу, все покажу, но попозже! Сначала выкопайте яму, чтобы в нее можно было посадить мамонта. Золотые и серебряные вещи отдавайте Леночке, оружие складывайте за моей палаткой. Леночка за вами посмотрит. А я пока вскипячу в двух котлах воду и накормлю всех обедом. Но кормить буду только тех, кто что-нибудь в песке отыщет..."

Глава двадцать пятая

ОТ АНДРЕЯ

Я провел замечательные три дня. Я купил себе широкополую шляпу. Ее можно было сдвигать на нос. Я сидел на пляже под ярким зонтом и читал газеты на настоящем русском языке. В журналах была роскошная европейская светская хроника, на русском она блестела, как фальшивые бриллианты. Я купил пачку "Советских sports" и с наслаждением читал их на ночь. Я узнал все, что можно узнать о киевском "Динамо" и ленинградском "Зените". На четвертый день мне уже сильно надоело, даже шляпа не помогала. А на пятый день я стал думать, куда мне ехать дальше. На пятый день я был в этом городе уже настолько лишним человеком, что Печорин и Онегин захлебнулись бы черной завистью. Пять дней - это мой рекорд. В Канаде я начал изнывать на второй, правда, я прилетел туда поздно ночью. Я люблю жить в городах, где все люди лишние, а не только один я. Мне нигде не прижиться, я могу остаться на одном месте, только приковав себя цепями. Но это не значит, что я свободный человек: я раб самой тонкой из цепей, которой держат и капиталисты и коммунисты, оборачивают сладкой оберткой и приписывают ей весь спектр земных достоинств, - я раб интереса к работе. А Ленин хоть и говорил, что свобода - это осознанная необходимость, но все-таки он сам выбирал себе необходимость, которую он соглашался осознавать.

Борька служил в Ливане. Прошло полмесяца, пока он появился на несколько часов к себе на квартиру, узнал, что я в Тель-Авиве, вытащил меня в четыре часа утра из гостиницы, и мы с ним катанули через полстраны до Тверии. Отсюда он должен был возвращаться на север, к себе в часть, а я - на автобус и к нему домой, куда мы по дороге успели забросить мои вещи. От этой утренней спешки мое чувство неприкаянности только усилилось. Завтракать мы заскочили в небольшой рыбный ресторанчик, недалеко от озера. И уже пятый час подряд было не встать и не уйти. Я уже давно созрел к тому, чтобы расплатиться и спуститься к воде, официант с недоумением поглядывал в нашу сторону, но Борьку было не сдвинуть. Он сидел распаренный, с кирпичным лбом, и очень напоминал мне молодого отца, каким я его видел на фотографиях.

Мы успели обсудить, как каждый из нас похож на отца, Борька уже вылил на меня все свои детские обиды, и каждый из нас чувствовал себя "старшим братом". Борька старше меня на три года, он родился в эвакуации, а после войны отец поехал в Ленинград и к ним уже не вернулся. И я успел шесть раз рассказать ему о своем последнем разговоре с отцом, вспоминая и придумывая новые подробности, потому что Борька отца видел редко, ревновал его и любил, а я отца видел часто и относился к нему спокойнее. Борька считал отца умным, а я - хитрым. Борька считал его способным, а я ловким, и я старался помалкивать, но по поводу отца нам с ним было не договориться. В последний час Борька тыкал пальцем в газету и рассказывал мне, что у него солдаты не слишком плохие и не слишком хорошие - ограниченные домашние мальчики из семейной страны, и перерезать сотни детей и женщин они были не в состоянии, а сделали это ливанские христиане-фалангисты, сводившие с палестинцами кровавые счета. И такие боины в Ливане происходят раз в два

месяца, но на этот раз историю раздували, потому что она происходила в зоне, занятой израильтянами. То, что он рассказывал, было слишком похоже на правду, чтобы об этом можно было долго разговаривать.

Борька сидел спиной к окну, и я, в основном, следил, чтобы Борькины погоны выравнивались по гребням восточного берега, и слушал, как за моей спиной поет громадный допотопный вентилятор. Пограничный берег был не в фокусе: террасу ресторана я видел очень четко и зубастых американок в желтых купальниках - четко, громадные платаны у самой воды показывали каждый листик, а над серединой озера воздух слоился и менял формы предметов, так что стая черных птиц на лету становилась разорванной и размытой.

- ...дети лежат в лужах крови со взрезанными животами, и старухи валяются с перерезанным горлом. Бойня, еби их мать! Как теперь служить? Я не представляю!

- Ты же говоришь, что это фалангисты?

- Это, конечно, фалангисты. И только фалангисты. Но кто их к палестинцам в лагерь пустил? Тетя? Нами было все оцеплено - я там каждый кустик знаю. Не при тебе сказано, но без министра обороны такие вещи не делаются. А как служить, если выше себя никому не доверять? Я же осколками поливаю площадь, может быть, гектар. Я теперь всегда буду думать, что там сидит сто детей и сто старух.

- А раньше ты не думал?

Борька посмотрел на меня очень внимательно, стараясь понять, не укоряю ли я его в чем-нибудь. Но я не укорял, я спрашивал. Я не вмешиваюсь в чужие проблемы, есть вещи, которые постороннему не решить: мне не нравятся белые американцы, я предпочитаю японцев и негров, но я до сих пор не понял, кого нужно защищать - белых от черных или черных от белых.

- А раньше я не думал, - наконец ответил он, - ты

понимаешь, сынок, раньше я не думал.

- Сам ты "сынок".

- Ты это не прими за громкие слова, но раньше я думал, что это война Бога.

- Кого?

- Бога! Я же ничего не соблюдаю, даже шабат, но сидит у меня в глубине, что сбываются все пророчества. И этому ощущению я себя передоверил. А если это война не Бога, а людей и люди допускают резать старух, то мне нужно к этой мысли еще привыкнуть. Ты чего смеешься?

- Для меня Бог - это абстрактная идея. Мне забавно, что ты его к себе в дивизию причислил. Пойдем пройдемся, не пей, тебе же сейчас за руль.

- Мальчик, я пью раз в год. Знаешь, как пьют в Израиле: в каждом доме батарея бутылок - "вот эту подарили нам к свадьбе", "эту - к свадьбе младшей дочери" - вот так и я пью. Но у меня, понимаешь, сегодня событие, мальчик. Ко мне брат приехал. Стоп, платить буду я. Ты мне Расскажи лучше в деталях, что отец обо мне спрашивал?

Мы вышли на улицу. На улице было жарковато. Даже просто очень жарко. Влажное пекло - градусов двести.

- Слушай, а отчего бы тебе здесь не жениться! - сказал Борька, пока мы шли к его машине.

- О какой женитьбе можно думать в такую жару? На ком? На снежной бабе?

- Дурак, на самой горячей! Ты же здесь не зимовал: тут не топят. Самые холодные зимы бывают в жарких странах - брр, страшно вспомнить.

- А летом?

- Летом можно спать отдельно. Ты джип водил?

- Мечта детства.

- Вертится, как волчок.

Мы уже съезжали к воде. Пока Борька разворачивался, я

спрыгнул с машины и пошел потрогать воду. Вода в этом озере, которое называлось Кинеретом и Галилейским морем, была тугой, как ртуть. На дне лежали то ли булыжники, то ли пушечные ядра неземной правильности и расцветки.

Я вдруг понял, что такое "родственные чувства" - это когда вдруг посреди земного шара оказывается малознакомый человек, которого не нужно опасаться. И его волнует, что о нем сказал отец. И два часа подряд он может рассказывать тебе, как умерла маленькая дочка, и ты чувствуешь, что ему становится несравненно легче. А отец ничего о нем не спрашивал, да и давно это было, пятый год пошел. Я засучил джинсы, ополоснулся и прошелся по дну. Свою страсть к купанию я уже утолил на море. Дно было похожим на байкальское, тревожным и скользким.

- Так ты говоришь, все девчонки погибли, - вдруг вспомнил Борька. Он полулежал на вывороченных из земли красных лакированных корнях, курил и смотрел на меня.

- Да, было в газетах. Я думал, что еще при тебе.

- Какое там - при мне: я Эльку Шаталову в последнее лето перед отъездом видел. Она мне говорила, что хочет делать пик Коммунизма.

- Шла чисто женская команда, что случилось, я точно не помню. Кажется, попали в лавину.

- Всех девок отлично знал, и эту, Эльку-вторую из Алматы, Мухамедзянова или как-то так. Девки все чудные были. Странно, смерть отсюда не очень отчетливо воспринимается. Как будто сам умер или они там все умерли, как в другой жизни, глухо. Ты понимаешь, о чем я говорю?

- Более - менее. День какой хороший. Я очень рад тебя видеть.

- Так. может, останешься, не будешь уезжать?

- Тяжелый вопрос.

- Конечно, жизнь здесь херовая: война, жарко, нет денег...

- Деньги меня не очень интересуют.

- Они не интересуют, пока они есть. А когда их нет, они очень интересуют. Я просто не хочу тебя зря обнадеживать. Но ты учитывай, что я тоже буду очень рад, если ты здесь останешься.

- Обменялись формальными любезностями.

- Ну, мы же с тобой не девушки - неудобно вслух говорить. Я теперь домой буду чаще возвращаться. Ходи в кино, еще куда-нибудь, в синагогу - не знаю, что еще тебе предложить.

- Боб, мне не остаться. Я чувствую, что меня отсюда уже начинает выжимать...

- Чего же ты будешь делать?

- Мне нужен город, чтобы затеряться в нем. Чтобы был европейский муравейник, в котором растворяешься бесследно.

Борька криво усмехнулся и сказал: "Что-то в этом же роде я слышал от Наташки". Второй раз сегодня он упомянул о своей жене, и второй раз от этого разговора я ушел. Мы искупались, развели на камнях крошечный примус и сделали себе по стаканчику кофе.

- Значит, ты хочешь уехать, - еще раз повторил он. - Давай зайдем к делу с другого бока, если ты не соглашаешься остаться и все-таки уезжаешь...

Я молчал и ждал, что он скажет.

- ... может, ты заберешь с собой Наташку?..

Теперь я уже просто молчал.

- ...в конечном счете, я предлагаю это для себя: ни мне, ни ей жизни нет. Она томится, а у меня она как заноза. Мы же не виделись после смерти Лизки, два раза по телефону разговаривали.

Я взглянул на него с удивлением, но ничего не спросил.

- Она не хочет видаться. Нет, ко мне она не вернется.

Почему? Как тебе объяснить? Такой она человек. Я уже смирился. Все равно ребенок вечно между нами будет. Ее же

дома не было, когда это случилось. Ладно, не хочу больше об этом говорить. Пусть она отсюда уедет, выйдет замуж, рождает себе детей. А я уж свою жизнь как-нибудь устрою.

- Странная у тебя роль, - ответил я и на некоторое время задумался.

- Увези ее отсюда. Для меня сделай это!

- Боб, я нездоров, я не могу никого на себя брать.

- Дай ей где-нибудь зацепиться. Зачем ее на себя брать?..

- Это одно и то же. Кроме того, не исключено, что я поеду в Африку.

- Нет так нет. А что, нельзя здесь врачом работать?

- Скучно.

- Что тебе скучно?

- Да я уже узнавал: хирургов полно, мест нет, это я уже все в Америке видел: обычная свара за кусок пирога. Медицина - это не "бизнес", они чего-то путают...

- У тебя ложное советское отношение к деньгам.

- Скорее всего, но мне уже поздно переучиваться. Вроде бы мы просохли, можно ехать.

В машине Борис навел приемник на армейскую волну, и я спросил его довольно отсутствующим голосом:

- И почему ты уверен, что у нее никого нет?

- Да вертится какой-то придурок, но его сейчас взяли на полтора года в армию.

- Такой молодой?

- Двадцать пять лет, как ей, но здесь же всех в армию берут.

Бери ключи, живи хорошо, через неделю я приеду.

- А что ты с армией решил?

- С какой армией?

- Не будешь уходить?

- Ах, ты об этом. Бывают ошибки. Ты опять улыбаешься.

Главного я тебе не сказал, ты поверь моему военному чутью: вот на этом месте, где мы сейчас находимся, скоро будет

война с Союзом - я не прощу себе потом, если я из армии уйду. Перевести тебе новости?

Мне хватает новостей и без перевода. Похоже, что у нас с ним одинаковый братский комплекс: это соблазнительная идея - воевать с Союзом. С дремучей и таинственной страной комиссаров. Но когда доходит до дела и нужно стрелять в русских, у меня не поворачивается рука. Борьке я об этом не сказал. Последние известия кончились, нежно на иврите запела девочка, и Борька сказал мне, что она поет про любовь. Но я и сам понял, что про любовь. Мы слушали, думали каждый о своем и до самого автобусного вокзала в Твери ехали молча.

Глава двадцать шестая ОТ АННЫ

*Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции, у моря...
Иосиф Бродский*

Рука не поворачивается. Шея не поворачивается. Очень болит голова. Каждую секунду головная боль усиливается. В первые дни я еще ходила, казалось, что боль пройдет. А сейчас только лежать с закрытыми глазами и никого не слышать. Анальгин глотаю пачку за пачкой. Если будет катер, поеду в Сухуми, к врачу. Пусть что-нибудь сделают. Голову отрежут. Сегодня вокруг тише. Чувствую, что Дашка где-то рядом ходит. Я слышала ее голос. Она собиралась уйти со взрослыми. Ее и Иннокентия Шахматова всегда берут со взрослыми. Но Иннокентий пошел, а она узнала, что в лагере остается Кит, и осталась меня стеречь. Смех. Шагу нельзя ступить. Леночка Липовецкая очень мягко, но каждую секунду не перестает за нами следить. Нестеров подстерегает меня, когда я иду, покачиваясь, в лес. Даже глаза открывать тяжело.

Все по очереди пробовали снять мне мигрень. Большие все сострадательные лекари. Век лекарей...

-Сваа-бо-даа!!

Как он противно орет. Нужно пойти куда-нибудь и зарыться головой в песок. Не получается для этого встать. Организм устал от боли. То проходит день, то час - я уже плохо в них ориентируюсь. Во времени. Если здесь на море такая головная разламывающая боль, то со мной что-то не в порядке. Вчера вечером приехала Катя Павлова из Москвы, и с ней прилетел Герка. Проморочил мне голову до ночи, потом соблагоизволил со мной поделиться. Нет такого слова - "соблагоизволил". Не произнести даже. Приполз.

- Ну, привет.

- Ты похож на человека, который приходит по вызову травить тараканов.

- Хочешь, помассирую?

- Я уже не знаю, Нестеров, чего я хочу. Помассируй. Только безо всяких дел...

- Тц-тц-тц! "Безо всяких дел" не можем.

- Тогда убирайся к дьяволу! И не кричи так громко. Мне больно слушать. Детский шепот в висках как набат.

- Сейчас я всех удалю.

Кит живет в одной палатке с Надькой Арциковой. Думает меня этим задеть. Бога ради. Опять сейчас будет приставать - очень голова болит сопротивляться. Все сначала. Я так стабильно жила, и опять приехал этот человек и меня сдернул. Чего он добивался своим идиотским звонком по телефону? Он именно этого и добивался, он добивался того, чтобы поставить меня на место. Опять растравил. До дна, чтобы у меня своей жизни не было, чтобы я его, мерзавца, помнила. Герка меня вчера выдерживал весь вечер. Я должна была с головной болью у костра выслушивать, как отец Булавкин пять часов подряд дает детям урок астрономии. Все желто-оранжевые

звезды, все символические прямоугольники четвертой величины. Нет желто-оранжевых звезд, звезды все на свете белые! После звезд семья Булавкиных вместе с Севой Липовецким начала выяснять, в каких, в "А" или в "Б" классах, всегда учатся подхалимы и мамочкины сынки. А потом Герка мне сказал, что видел у Андрея черные точки на спине. Черные так черные, для первого разговора этой информации мне вполне хватило. Сегодня вечером я могу послушать еще, я очень благодарный слушатель.

Попробую-ка я встать. Сколько света! Кит собрал вокруг себя детей у костра и что-то им с загадочным видом намурлыкивает. Я заметила, что двое детей новых, Катиных, мальчик и девочка. Папа у них университетский профессор и всегда отдыхает отдельно, играет в Лазоревской в лаун-теннис. Говорит, что для любви нужна крепкая спина. Голова нужна крепкая. Чтобы ни на какие провокации не попадаться. Что Андрей сейчас себе думает? Что я теперь опять могу спокойно жить? Целую, люблю, зеленые плащи... и опять уехал на всю жизнь. Или он думает, что я ничего не чувствую? Что я бесчувственная? Без чувств? Как я теперь дальше должна жить?

- ...наверняка не знает, хоть она и хвалится, что до шестого класса была отличницей и у нее есть похвальные грамоты с Лениным и Сталиным. Только с Лениным? Значит, только с Лениным. Понимаете, это было давно, за шестьдесят лет до рождения Христа, но люди были точно такие же, как сейчас: вместо Помпея вы можете представлять себе жестокого и благородного Герку. Марк Красс был похож на Саню Ланского, в наши дни он был бы заведующим крупной парикмахерской. А Митридатом? Митридатом был я!..

Я прикрыла глаза и побрела потихонечку мимо, чтобы даже его голоса не слышать. Под ноги попались шоколадные каштаны с капельками росы на коже, но у меня не было сил

за ними нагнуться. Я люблю собирать каштаны и любые ягоды, даже клюкву. Но я их только подтолкнула ногой поближе к тропиночке.

Когда я вернулась обратно, никого не было видно - один Нестеров сидел у входа в мою палатку и самодовольно улыбался. Детей всех, наверное, утопил, чтобы не мешали.

- Без дураков: массаж и все. Отвернись! Я сейчас бочком буду забираться, мне не согнуться, тебе нельзя смотреть.

Я легла и, пока Кит перед массажем медитировал и молился, постаралась отключиться. От ступни до мозга прокатилась знакомая дрожь, теплый ток, по мне начали гулять пальцы. Я подумала, что они все спекулируют своей энергией, закружилась, ресницы дрогнули, и я заснула. А очнувшись оттого, что Кит пытался меня раздеть. Я вырвалась и швырнула в него тем, что попало под руку, - Алешкиной рубашкой.

- Нет, Нестеров, даже речи об этом быть не может.

Опять появилась пульсация в висках, но уже не сильная, и густого тумана в глазах уже не было. Я, наверное, недостаточно убедительно швырнула в него рубашкой.

- Не напрягайся, дурочка, я еще не кончил массаж, да перестань ты ломаться, я только ослаблю...

- Нестеров, ты свинья...

- Хорошо так?

- Нестеров, ты свинья. Нестеров. Все. Нестеров, пусти.

У Кита волосы цвета темной меди.

- Спасибо за лечение. Выкатывайся. Руки убирай. В связи с отсутствием оргазма половой акт считать несостоявшимся...

- Считать девицей!

- Именно так, но ты знаешь, Нестеров, мне стало легче. Уходи, милый, дети возвращаются.

Слышны были истошные крики. Кит вылез из палатки, чтобы посмотреть, что происходит.

Опять все сначала. Такой я уже однажды провела год. Он приехал и опять превратил меня в шлюху. И чем-то нужно жить, пробудить в себе хоть какой-нибудь интерес к жизни. Никакого к черту секса. Считать девицей. Сопротивляться Нестерову, сколько хватит сил.

Очень хотелось есть. Я открыла полог палатки - мимо меня с визгом пробежали дети, впереди всех летел Севка в настоящем римском шлеме. По тропинке под скалами к лагерю возвращался Гриша Липовецкий и издалека размахивал клочком белой бумаги. Сунул ее нам в руки и полез купаться.

В телеграмме было: "Положение ухудшилось срочно возвращайся целую ася".

- Иди к костру, согрейся. Сделать кофе? - спросил Кит.

- Ага, я очень замерзла.

- Гера мне сказал, что этот фраер был здесь. Жизнь не устает баловать нас сюрпризами.

- Ну и бурда! Это ты заваривал?

- Сахара добавь. Слушай, я никогда не поверю, что ты тоже его не видела.

Гришка плескался у самого берега. Чего я не видела, так это чтобы люди так плавали: он быстро-быстро дрыгал под собой руками и ногами и фыркал. Так мальчишки купаются в деревенских речках.

Я держала горячую кружку двумя руками и лязгала об нее зубами. Ну и озноб. Кит принес на плечах высохший пенёк с замысловатыми корнями и бросил его в костер. Потом сел задумчиво на бревно, поднял с песка гитару, немного пел и немного разговаривал. Корни быстро загорелись, я подвинулась поближе, и у меня запылало лицо. "В нашем старом саду, там, где тени густые..."

- Я не думал никогда, что Андрей может приехать и ко мне не зайти...

"Отчего же слова ты мне шепчешь..."

Я ничего не отвечала, сидела и ковырялась в костре лыжной палкой. Какое мне дело до его обид на Андрея? Угли еще с ночи были горячими. Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно?

"Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно?"

- Зачем же он, Анюта, приезжал? "Отчего ж на меня..."

- Знаешь, Анюта, я замечал, что у судьбы есть такие приемы: если какие-то... ну что-нибудь, события какие-то не могут произойти в тех условиях, в которых мы находимся, то эти ребята, - Кит мотнул головой наверх, - вносят в нашу жизнь сильнейшую тягу к перемещениям. "Ах, как мало любви, обещаний так много". Обещаний так много, Анюта. Тягу к перемещениям. Только кажется, что от нас самих что-нибудь может зависеть. "Разве сердце свое..." Бабская песня.

Из леса выбежала свора бродячих собак. Значит, кто-то шел. Собаки всегда увязывались следом, а к морю выбегали первыми. Гришка сверкнул голыми боками и мелкой побежечкой понесся за палатку вытираться.

- Что дальше делать будем, Волкова?

За деревьями показались рюкзаки, свист, улюлюканье. Их не поймали. Алешка шел, мой муж.

- Что делать будем, Волкова? Может быть, ты уже побыла за ним замужем, и хватит? А? Ты хочешь, чтобы я первым тебе сказал...

- Меньше всего.

- Выгони его к черту. Я устал тебя видеть один раз в неделю. Сколько это может продолжаться. Хочется вместе просыпаться утром.

- Нестеров, ты не должен снижать свой образ. Ты обветренный викинг, ты не можешь по роли обращаться к женщинам с такими предложениями. Ты еще, чего доброго, предложишь мне поехать за тобой в ссылку. Я угадала? Ах, ты обиделся! Может, ты еще и ребеночка от меня хочешь?

"Малыша"? Предложи Наде.

- Волкова...

- Что "Волкова"? Что "Волкова"! Вы же все большие любители детей. "Плодиться и размножаться"! А потом появляется "сильнейшая тяга к перемещениям"!

- ...я диву даюсь, сколько в тебе жестокости.

- Не смеши!

Ребята уже были совсем близко. Очень удачно, что они вернулись.

Вечером Гера Трубачев рассказал мне до конца все, что он знал. У костра еще пели и о чем-то пьяно спорили. Кит и Надька закрылись в своей палатке и даже к ужину не выходили.

Даша крепко спала, разметавшись поверх одеял. Я накрыла ее и аккуратно сдвинула к самому центру палатки.

Значит, они с Андреем виделись. Завтра мне предстоит заново знакомиться со своей дочкой.

Глава двадцать седьмая ОТ АНДРЕЯ

Прошел месяц. Я неизвестно чего ждал, не уезжал и тянул. По вечерам я собирался наведаться в авиаагентства, но утром в памяти образовывался провал, и я шел на пляж или в медицинскую библиотеку просматривать хирургические журналы последних лет. В основном я их не читал, а находил статьи по раку пищевода и выискивал фамилии знакомых авторов. Я уже столько раз повторил Борьке, что собираюсь в Африку, что по этому поводу пора было что-нибудь предпринять. Африканских посольств в Тель-Авиве не было. Я послал девять запросов и не очень торопился получать приглашения. Чувствовал я себя неплохо. Ходил с мешочком на базар за овощами. Перед сном на море разминался,

натягивал на голову капюшон и по набережным бегал. По вечерам было тоскливо. Темнело рано. Борькина квартира была в крикливом оживленном районе недалеко от моря. Похолодало. Комаров в квартире стало меньше, и кусались они слабее. Иногда я часами ловил "Маяк". Передачи для строителей БАМа. По телевизору шли американские мыльные оперы и замусоленные старые фильмы с Фрэнком Синатрой. Напротив моего дома стоял ободранный отель, а в дверях целыми днями сидели на стульях две толстые проститутки, курили и тютюкали проезжавшим мимо в колясках детям. Когда у них лица расслаблялись, в них проявлялась какая-то неженская грубость, как у переодетых мужчин. Туристский сезон кончался, и до обеденного перерыва работы у них было мало. А в сиесту, с часа до четырех, чаще всего исчезала одна из них, рыхлая молочная блондинка. Когда ее подвозили обратно к отелю, она хлопала дверцей и важно вышагивала к своему стулу, а сидящие на ступеньках соседней забегаловки пожилые сефарды грызли орехи и одобрительно ей кивали. Проститутка забрасывала ногу за ногу, и рубенсовский жир натягивался и становился гладким.

День за днем я покуривал себе наверху, на ветхом балкончике. По субботам улицы затихали. Автобусы начинали ходить, только когда на небе появлялись три звезды. Открывались кафе, затемненные ресторанчики. Я небольшой любитель достопримечательностей и исторических мест.

Что, если помахать толстухе и выпить с ней кофейку? Мне тяжело жить в невлюбленном состоянии. Настолько тяжело, что приходится срочно искать выход. Например, влюбиться. Это вполне порядочный выход. Я много раз заново влюблялся в свою жену. Какое счастье, что я этим уже переболел. Может быть, полюбить эту толстуху и начать с ней новую честную жизнь? Очень неплохая мысль. Конечно, любовь - это долг, но, когда забываешь о болезни, этот долг связывает не очень

сильно. У меня широкий вкус. Я влюбляюсь практически без лимитов. Я влюбляюсь прямо в душу и стараюсь не замечать внешних вещей. Иногда я даже не замечаю, что душа замужем. Даже замужем за моим близким другом. Конечно, есть разные условности, которые действуют и на меня: я не могу влюбляться в родственниц, даже в троюродных, даже в самых дальних. Такие возможности я не рассматриваю. Я не могу влюбиться в тетю. Это патологические возможности очень плохого вкуса. Я не могу никогда влюбиться в жену брата. Помню, что Григорий Печорин приводит Бэле демагогический довод, что если Аллах разрешает ему любить Бэлу, то и Бэле можно любить Печорина, но я никогда не понимал, из чего следует, что Аллах разрешает ему любить Бэлу. По-моему, он делал это именно безо всякого разрешения. Все мысли дурного вкуса мною выкидываются из головы, я сбиваю все самолеты с этими опознавательными знаками. Я запретил себе думать о женщинах в белой одежде, а это довольно сложная задача для южного города. Я запретил себе думать о женщинах с голубыми белками. О женщинах с ногами. С коленями. Только в виде боковых ассоциаций. Я почти достиг своей цели: я ни о ком не думал. Но уехать из этого города мне пока не удавалось.

Раз в неделю приезжал Борька. Мы болтали, ругались с его приятелями, шляли по пыльным улицам, мимо семечек и фалафельных, мимо вымогателей долларов у центральной почты, перекидывались ядовитыми шуточками с той забытой ленинградской ленцой, с которой мы привыкли и уже отвыкли общаться там, тогда, в той жизни, которая стала прошлой. Выяснилось, что эта земля очень располагает к спорам о религии, и я успел получить клеймо атеиста. Мне дела нет до чужих вер. По моим наблюдениям, большинство людей хождение в церковь затрагивает даже меньше, чем заядлого болельщика поход на скучную игру московского

"Локомотива". Я могу напрячься и увидеть что-нибудь мистическое в кипах и собольих шапках, но я подозреваю, что просто у людей есть идея, что есть Бог, она стоит где-то между знаниями о ценах на кошерный маргарин и смене времен года, то есть соображения об устройстве мира, куда включен Бог и свод религиозных правил. Не красть и не распутничать. Но мне нравилось стоять у открытого окна синагоги и слушать субботные песни. И я нашел маленькую англиканскую церковь, где по средам играл прекрасный органист. В Тель-Авиве есть район, где крошечные христианские церкви выглядывают из чистеньких европейских двориков, застенчивые "матушки" пасут соломенных детей, туда ведет пять километров сталинградских трущоб - это Яффо. По дороге Борька рассказывал мне, что он в пьяном виде собирается все эти трущобы снести и построить что-нибудь настолько грандиозное, что ему не довести свою мысль до конца. Чтобы все сказали "ах". Но я и без его построек говорю "ах". Потому что вся восточная подлость, запечатленная в камне, - это Яффо, и колючая проволока времен английского мандата - это Яффо. И синие европейские шляхи - Яффо. Пахнет прогорклым маслом и горелой бараниной, и морю тесно - это Яффо. И воздух вор. В Яффо живет пророчица, к которой я ходил узнавать мою судьбу. В Яффо зажгли фонари, и машинки с недовольным видом объезжали нас стороной, обдавая огнями полных фар. Когда заходишь в Яффо, звезды желтеют и месяц ложится на бок. Пророчица живет в двухэтажном домике, где цела только ее квартира - в трех остальных нет дверей и окон. Перед домом привязан пузатый ослик. На пеньке, во дворе, стоит большая эмалированная миска. Это тоненькая старая женщина в клетчатом платье и грубых шерстяных носках. Она приехала в Израиль из Турции. И не помнит когда. Она не знает счета. Старуха сгорбилась в кожаном кресле, на столе горела

бронзовая керосиновая лампа, отбрасывающая на стены дрожащие тени. В комнате не пахло розовым маслом. В комнате пахло венгерским гуляшом. Я теперь знаю, что меня ждет, но я не знаю, огорчаться мне или радоваться. Когда я, покачиваясь, вышел на улицу, Борька уже начал беспокоиться и напряженно вглядывался в окна. "У тебя остались знакомые в Канаде? - спросил он меня на обратном пути. - Слушай, не в службу, в дружбу, я звонил Наташе, и она попросила меня дать адрес знакомых в Канаде или Америке - это для кого-то, не для нее. Она тебе на той неделе позвонит. Ты не смотри на меня с изумлением. Тут нечего изумляться - я сказал тебе, что не для нее, значит, не для нее!"

Утром брат снова укатил в Ливан. А я так и не пришел в себя от его выходки. Мне не трудно было дать этой женщине, которую звали Наташа, которая носила широкий белый пояс и мою фамилию, адреса моих знакомых в Канаде или в Америке. Или в Бразилии. Если этот адрес нужен был для мужчины, то я мог даже найти для него адреса на Командорских островах или на Филиппинах. Но я уже знал, что разговор по телефону будет бездонной пропастью, к которой мы уже подступили, и оставалось только взяться за руки, сделать неосторожный шаг и погибнуть. И жизни мне оставалось три дня. Как назло, приходили звонить соседи, немолодой американке звонили по брачным объявлениям, и она по полчаса расспрашивала кандидатов по-польски и на идише, старый беззубый гномик с нашей площадки каждый вечер стучался и уговаривал меня продать ему доллары, но к концу третьего дня все исчезли. Куда-то делись. А я лежал на диване в сапогах и джинсах. И ненужную шляпу сдвинул себе на нос. Оставался час. Полчаса. Минута. Звонка не было. Еще целых семь минут звонка не было. Я знал, что дольше ей не выдержать. Через семь минут телефон зазвонил, и звонил

целую вечность, пока я не снял трубку и хрипловатый взволнованный женский голос не спросил меня: "Андрей?"

Глава двадцать восьмая ОТ АВТОРА

За Москвой жизнь начала съезживаться и сократилась до полки в пустом купе двенадцатого вагона. Положив подбородок на кулаки, на ней лежала загорелая женщина с блестящими серо-зелеными глазами. Плечи у нее были, пожалуй, чуть широковаты, а тело - крупное тело большой удивленной девочки. Каштановые волосы были подняты кверху и убраны под выбеленную солнцем косынку, и от этого все ее тонко вычерченное лицо с нежными родинками на скулах, с длинными дугами бровей и густыми ресницами было виднее и понятнее. Вдруг она ощутила беспокойство и на несколько секунд замерла, пытаясь услышать, откуда идут сигналы тревоги. Потом прижалась лбом к холодному стеклу, поняла, и глаза начали тосковать, но она напрягла их и заставила себя успокоиться. И не заплакать. Анна достала из рюкзака косметичку и посмотрела на себя в зеркальце маленькой пудреницы. "Лицо обветрено, как у матроса", - произнесла она вполголоса. Одна прядь выгоревших волос выбилась из-под косынки, и она попробовала ее на вкус языком - волосы были еще солоноваты.

За окном был район, в котором она немного жила давно вместе с мужем, и больница, где он работал. Снег не успевал долететь до земли, серел и куда-то проваливался. Слезы совсем прошли. Она купила в магазине у моря красивый шерстяной костюм английский и заставила себя думать, как она наденет его в первый рабочий день и войдет в нем в ординаторскую. Это ее отвлекло. Потом она повернулась к зеркальной двери, подняла голень, даже чуть вывернула ее и

некоторое время рассматривала ногу в зеркале. За окном был синий темный день без света. Она возвращалась в Ленинград вместе с дочерью и Гришкой Липовецким, остальные решили задержаться в Сухуми. Гришка и Даша ходили есть в вагон-ресторан. После этого Дарья исчезала, а Гришка кокетничал в коридоре с высокой крашеной блондинкой. А Анна лежала и смотрела в окно.

В дверь купе постучали. Она спрятала зеркальце под одеяло, вложила волосы под косынку, накинула на ноги плед и негромко сказала "да".

- Анка, просыпайся, скоро приезжаем, целый день спишь. Взгляни в окно.

А она не спала "целый день". Просто, пока она лежала на полке, смотрела в окно и разглядывала в зеркале свою ногу, жизнь шла медленнее, и она не успевала стареть. Она не торопилась никуда приезжать. Ночью Анна слезала с полки, сидела одна в коридоре, а когда вставала, то придерживала рукой откидной деревянный табурет, чтобы он не хлопал об стенку, а Гришка не проснулся и не начал ее подбадривать. Ее не нужно было подбадривать. В окно тоже ей не нужно было смотреть.

- Только не включай свет, - сказала она Гришке. Гришка сразу же включил яркий свет и озабоченно осмотрел ее лицо, но увидел, что она не плачет, и успокоился.

- Где твоя собеседница? Она очень громко смеется.

- Редкая дура, - сказал Липовецкий, - я бы с ней сгорел как в цикле Кребса. В пламени жиров.

Все-таки он был собой доволен и мурлыкал песню, которую никто бы не разобрал. Но она поняла, потому что эту песню пели в том городке, мимо которого они ехали. Тогда, давно пели, и Гришка, значит, тоже об этом думал.

Не тревожь ты меня, не тревожь... Гришка барабанил пальцами по стеклу.

...И когда по деревне идешь, на окошки мои не поглядывай...
Лучше бы он умер.

...Записок ты мне не пиши, фотографий своих не раздаривай,
голубые глаза хороши, только мне полюбились карие...

Иногда ей казалось, что она узнает огни за окном. Или станцию. Шлагбаум. Стог сена. Если будет солнечный день, то плащ можно будет снять и нести на руке. Когда она начинала думать о шерстяном костюме, то от нетерпения ей даже становилось жарко. Вот эти огни были похожи на окна их больницы. На обед всегда был суп из макарон, и Лена Липовецкая никогда не обедала в отделении, чтобы не толстеть. Все-таки у Лены сейчас рыхловаты бедра. В цикле Кребса.

Дашка зашла в купе, но никому не сказала ни слова - пошарила в своей сумке, взяла записную книжку, ручку и унеслась. Переписывать адреса. Анна тоже часто записывала летние адреса, но никому никогда не писала. Класе в четвертом была целая куча адресов: иногда приходили открытки - нужно было написать пять открыток со своим адресом и разослать разным другим девочкам. Должна была начаться цепная реакция и в ответ прийти очень много красивых открыток. Она всегда посылала пять открыток, но цепная реакция где-то останавливалась, и этот дождь открыток на нее не падал. Может быть, просто на почте их не разрешали разносить.

- Бросить бы все, - сказал Гришка, - и уехать. Он тоже смотрел в окно, но непонятно было, что ему там видно - свое отражение и приоткрытая дверь в коридор? А нужно было прижаться к самому стеклу и прикрыть лицо ладошкой.

- О чем ты? - спросила его Анна.

- Вот именно, - ответил Липовецкий. - Только ты мне не ври, что никогда о нем не думаешь. Я все равно никогда не поверю. Или ты считаешь, что ты мне тоже вкрутила и я все твои

увлечения приму за чистую монету? Я не могу поверить, что после того, как женщина была замужем за хорошим хирургом, она может серьезно выйти замуж за кого-нибудь из этих бездельников. Пойми, что они в глубине души совершенно чужие нам люди. Может быть, я просто сноб.

- Ты просто сноб.

- К чертовой матери вообще это слово "любовь", - ковырнув спичкой в зубах, сказал Гришка, - какое-то стихийное бедствие. От которого нет спасения. Один рецепт: надо больше работать. Заниматься медициной. Если бы я отсюда уехал, я бы, знаешь, каким стал врачом? Здесь мне еще нужно десять лет учиться, чтобы стать таким врачом. Я не понимаю, неужели он может отказаться от всего, что он умел. Я не понимаю, чем он там занимается. Если он медицину бросил, то чем вообще он там может без этого заниматься?

Вошла толстая проводница в жеваном берете и кителе, забрала подстаканники и буркнула: "Куда дели ложку?" Гришка ее успокоил, попросил принести еще три стакана чая. И дал рубль.

Оставалось еще несколько часов жизни. Потому что дальше пойдут быстро мелькать числа и она не сможет недоумевающе спросить Гришку, о чем таком он говорит.

- Если я стану заниматься медициной сколько ты требуешь, - едва заметно улыбаясь, прошептала Анна, - то у меня вырастут усы и бакенбарды. Я все-таки еще женского пола.

Она повисла на локтях и прыгнула на пол. Поезд остановился. В коридоре сразу обнажились чужие голоса разговоров. И постепенно затихли.

Анна надела свитер и вышла мимо людей в тамбур. Поезд стоял на каком-то несуразном полустанке. Анна спустилась на землю и засмеялась от удовольствия. Как хорошо холодно! "Не отстаньте", - безразлично сказала ей вторая проводница. Анна различала их по платью в горошек. Отстать было никак

нельзя. Невозможно. Отстать и вдруг очутиться ночью снова в промозглой Малой Вишере и сереть вместе с утром. Смотреть, как рабочий мрачно приколачивает к столбам ноябрьские портреты. Анна вдохнула побольше мокрого воздуха и вернулась к себе в вагон. Гришка поставил все шесть пачек сахара-рафинада в виде солдатиков. Толкал, и они по очереди спотыкались и выкладывались на столе веером. Анне хотелось, чтобы Гришка снова заговорил об Андрее, тогда она снова бы с недоумением на него посмотрела.

- Ты знаешь, Далинская, я раньше...

- Я не Далинская, - тихо поправила его Анна, вспыхнув и выпрямив спину, но Гришка был увлечен своим и не видел, как она выпрямляет спину.

- Я раньше наизусть знал свою записную книжку - я ее просматривал и думал, где может появиться хоть самый слабый шанс уговорить какую-нибудь знакомую лечь со мною в постель.

- И? - спросила Анна.

- Нет, - ответил Гришка, почесав нос, - мне приходилось уговаривать Ленку. Между прочим, тебя я никогда не рассматривал. Но ты единственная женщина, которую я в этом смысле не рассматривал.

- Спасибо. - Анна слушала его совершенно серьезно. Она подперла голову ладонями и смотрела, как незаметно Гришка стал взрослым.

- Так теперь я тоже наизусть знаю свою книжку - я часами ее изучаю и думаю, где занять денег. Больше ни на какие мысли записная книжка меня не наводит.

Гришку занесло в тему, которая Анну не интересовала. Она начала собирать белье с полок. Закатала поролоновые матрасы, и Гришка начал засовывать их наверх. Два матраса развернулись, и из них выпали подушки. Лучше всегда все делать самой. В купе стало больше места, и оно стало больше

похоже на детство, когда возвращаешься с родителями с юга и можно ползать по пыльным полкам или считать, сколько телеграфных столбов умещается между километровыми отметками. В Малой Вишере поезд не остановился. Анна и Липовецкий переглянулись, но вслух ничего не сказали.

Анна снова забилась в угол у окна и глотнула остывший чай. И тоже сделала столбики из невскрытых рафинадных пачек. Есть защитный непробиваемый слой нелюбви, который страхует от неудач и срывов. Со всеми людьми нужно жить, огородившись этим слоем. С Гришкой они были очень давно знакомы и не прятались за страхующие слои, но просто за последнее время они стали меньше разговаривать. Она давно уже снова Волкова. Если бы не этот приезд из гроба, то смешно признаваться даже Гришке, что ты еще об Андрее помнишь. Теперь еще оказывается, что Андрей болен. Ловко живешь и от всех все скрываешь, а потом выясняется, что Андрей приезжал и что он болен. Можно приспособиться к любому человеку. С ним жить. Притворяться его женой. И все тебе верят. Она, наверное, и к Гришке могла бы приспособиться. Но они с ним и так слишком хорошо понимали друг друга. Она не могла только жить с человеком, который ее обманывает или устраивает за ее спиной игрища. Пока любишь, никого нельзя прощать. Она его не простит никогда. Начинался черный зуд мести. Что ей эта Аська? Отомстить ему за то, что он сделал с ней самой и с их жизнью. Если мстить и наносить ему и себе максимальный урон, то становится легче. Ненадолго, но становится легче. Главное, что ей казалось, что от всего этого можно отделаться, но сейчас он еще и болен. И не так стыдно о нем думать. Такие перепады и разбросы от счастья до бешенства. От ревности человеку не спастись. Ни к кому конкретно ревности не было. Она и к Асе уже научилась относиться просто как к отдельному человеку, без связи с Андреем или с Нестеровым.

Но когда всплывала эта история, поломавшая их жизнь, то какие-то жуткие подземные силы выходили наружу. Асфальт приподнимался и лопался, она начинала все крушить вокруг, как раненый зверь. Она старалась не отпускать себя так далеко, где она с собой не справлялась, и пока она пряталась от себя, ее занесло в пустоту. В пустоте ей удалось успокоиться. Раньше она говорила "я права", и бешенство питало ее и давало силы. А теперь она тоже убеждала себя в своей правоте, но ничто внутри на это не откликалось.

- Все-таки нельзя жить с человеком, который тебя обманывает, - сказала она Гришке. Гришка пожал плечами и ответил: "Не живи".

Гришку больше на разговоры было не расшевелить. Анна провела пальцем по стеклу и представила себе солнечный город и широкую мощеную площадь. И то, что она представляла себе всегда: к Андрею подходит молодая женщина, они говорят о чем-то, что им обоим интересно и понятно. Андрей наклоняет к ней лицо, а она берет его за руку и куда-то уводит. Женщин она себе представляла разных, иногда Аську. Но она никогда не успевала разглядеть, во что Андрей был одет, и не успевала встретиться с ним глазами. Хуже всего было, что они разговаривали так, что только им двоим все понятно. Иногда она и себя включала в эту картину. и это было самой страшной местью ему, которую она пока придумала. Она возникала на пути у этой пары, убеждалась в том, что он ее заметил. и замедлял шаг. Убеждалась в том, что он ее еще любит. И в этот момент насовсем исчезала. Только убедившись, что он еще любит. Иначе получалось глупо. Если ей нечем было себя занять или она делала механическую работу, то эти видения лезли ей в голову. Очень редко это случалось во время операций, и она начинала оперировать в полную силу, чтобы удалось очнуться.

"Лучше бы я сама умерла, - сказала она себе, - было бы

легче". Поломал ей жизнь. Подумать, что человека никогда в жизни больше не увидишь, и грызет сразу под ложечкой. Любого человека если больше не увидишь. И пусто жить дальше. Она надеялась, что в Ленинграде снова все пройдет. "Окно совсем мокрое. Буквы расплываются. Хоть бы одно слово сказал перед отъездом. Ловец острых ощущений".

Чтобы с ним не сделать самого кровавого - все равно и самой его страшной гибелью было бы не насытиться, потому что он поломал жизнь себе, ребенку и ей. Ничто уже не поможет. Потому, что они потеряли уже сколько лет их общей жизни. Ей было не отречься от него, не забыть, но пока в ней оставалась еще капля любви, она ничего не могла простить. Пока любишь, нужно рвать и ничего не прощать. Головой выходишь замуж, и ничего из этого не получается. Алешка говорил, что когда она полюбит его по-настоящему, то все устроится. Но ничего не устраивалось. Рвать, рвать, рвать и не прощать.

Проехали Любань. Точно. Гришка дремал. Он за дорогу оброс рыжей щетиной. Пора уже было идти за Дашей. И решать, о чем говорить с Китом, если он придет их встречать. Кит совершенно не готов к напряженным отношениям, а от этой тягомотины она устала. Анна готова была поступать как нужно и как ей слышится, но ничего особенного она не слышала и поступала так, как ей подсказывала голова. Получалось очень плохо.

Оставалось пятьдесят минут свободы. Потом пойдет каждый день и текучка. Если она вдруг прощала Андрея, то внутри становилось ясно. Хорошо и светло. Но быстро накатывалось желание мстить и делать себе и ему необратимо больно. Она зажгла сигарету и глубоко затянулась, так, что дрогнули ноздри. Гришка приоткрыл глаза и отогнал от себя дым рукой. Сорок минут. Тридцать.

Когда поезд подъезжал к Ленинграду, Анне удалось

справиться с собой и снова стать холодной и чужой. Она уже была готова к отношениям с людьми, которые мало ее задевали. И такой ее увидел Кит Нестеров.

Кит стоял около их вагона в расстегнутом светлом тулупе, и это значило, что началась зима. Нести плащ на руке было нельзя. И значило, что Кита еще не посадили. Гришка что-то оживленно Киту начал рассказывать и повесил на него часть рюкзаков. А Дашка прошла мимо Кита, не здороваясь. Она не любила Кита, никогда не разговаривала с ним, и с этим никто ничего не мог поделать.

Платформа была вычищена до скрежета и посыпана песком. Но на всех домах и на синих вагонах в тупиках лежал снег.

Они пошли по длинной платформе к вокзалу - впереди Гришка и Даша, а Кит и Анна немного поодаль.

- Ты жутко похорошела за эти дни, - сказал Кит.

- Гришенька, где ты будешь ночевать? - крикнула Анна согнувшись под рюкзаком Гришке. - Ночуй, пожалуйста, у нас. Лови ключи. Мы вас догоним.

Они с Китом пошли немного медленнее. На платформе было очень много людей, и постепенно они отстали.

Глава двадцать девятая

ОТ АВТОРА

Анна села в кровати, потянулась и разгладила рукой складку на простыне. Вечером она свалилась усталая, и ей было не до мелочей. Мама стирала белье с синькой и доводила постельное белье до пугающей свадебной торжественности. Когда Анна, после месяца в спальном мешке, перебиралась на хрустящие простыни, у нее начиналась новая, особенная жизнь, почти равная счастью. Вставать очень не хотелось. В левой руке Анна все еще держала будильник. Отвратительно. Будто отпуска совсем и не было. Анна прошла смуглым

привидением по квартире, но никого будить не стала. Пусть Дарья пропустит еще один день - как следует приготовится к школе и сходит в магазин. Гришка спал в гостиной на ковре, не раздевшись. Анна прошла на кухню и машинально крутанула ручку репродуктора. И снова его выключила. "...Занятия ведет мастер спорта..." На свете существовала утренняя гимнастика. В квартире было зябко, как в промерзшей прачечной. Анна не стала завтракать - только привела себя в божеский вид и оделась. Костюм ее утром почти не радовал. За окном шел мелкий, противный дождь со снегом, а костюм был светловато-коричневый с рыжинкой и расписным неуместным орнаментом на шее. Надо было купить другой - в магазине их было два - тот, что был чуточку темнее. Анна вспомнила о больнице и подумала, что все-таки ей их всех очень не хватает. Даже врагов. Она оставила дочери и Гришке записку на столе, поверх записки положила деньги и торопливо вышла из квартиры. В первые секунды она еще была слишком яркой, и на нее поглядывали прохожие, но она была горожанкой и умела сливаться с городом. Анна подняла воротник, надвинула низко на лоб вязаную шапочку и постепенно в городе растворилась. По дороге она забежала в пирожковую на Литейном и встала в мокрую очередь. Из цеха вынесли два подноса - ватрушки и пирожки с морковью. Горячие. Даже воздух из пирожков еще не вышел. Анна взяла пирожок и ватрушку. И стакан кофе с молоком. Пирожки пахли печью. Все было очень здорово. Сейчас она выйдет из пирожковой, и это будет Анна без слабых мест.

Из окна пирожковой была видна дверь их больницы. Она никак не решалась снова появиться на улице и стать без слабых мест. Анна стояла у окна, вертела стакан кофе в руках и посматривала на трамвайные рельсы. Кофе оставалось на донышке, но стакан был еще горячим.

Анна дождалась, пока в больничный подъезд вошли

несколько знакомых врачей, аккуратно вытерла пальцы и губы. Чуть-чуть подкрасилась. Ей даже казалось, что она немножко притворяется и люди, которых она сейчас встретит в больнице, никогда ее раньше не видели и не смогут ее узнать. Но ее сразу все узнали, даже гардеробщица.

- Ой, Анна Васильевна пришли, вы прямо как куколка.

- Доктор, как вы сегодня рано!

- Волкова, привет!

"Куколка" не стала заходить к себе в отделение, а медленно поднялась по внутренней лестнице в конференцзал. На площадке уже курили хирурги и несколько радиологов. Анна по очереди со всеми поболтала. Она по всем соскучилась, волновалась и еще немного себя стеснялась. Но она чувствовала, что у нее прибывают силы, что, может быть, она становится негибкой и более поверхностной, но она может начать работу и на нее можно положиться.

Все-таки они все прибалдели от ее костюма. Пока она между рядов кресел пробиралась на свое место, главный врач поднял брови и потер себе лысину. Главный врач был больничным клоуном.

- С чужого места, как с этого самого теста!

На ее месте сидел хирург, который был с их курса - хоть в институте они были почти не знакомы, но здесь хранили крохи курсового братства, то есть разговаривали на "ты" и немного друг друга страховали.

- Доктор Волкова, вы среди нас как подснежник среди зимы, как...

- Ты двигайся, двигайся.

- Где будем отмечать твой приход?

- Ты же жмот, у тебя же вечно нет денег. Сашка, подвинься ты, наконец, вот еще Данила идет.

- Ань, ты представляешь, из-за Сеньки Соколовского увольняют...

Конференция уже началась, и последним, как всегда, вошел отдувающийся Данила. Он поискал глазами Анну, увидел и направился к ней.

- Я боялся, что ты не приедешь, что телеграмму пришлешь или не будет перед праздником билетов!

Данила хохотнул и накрыл ее ладони своими огромными пухлыми ручищами.

- Я хочу тебя оставить вместо себя на три недели.

- Что за новости? Почему не Григорьеву?

- Не вмешивайся, не твое дело. Не хуже нее прекрасно справишься. Я тебе сегодня сделал санитарный день, чтобы ты освоилась и с места в карьер не вставала к столу. Но меня сегодня уже не будет, я поеду на ту базу. Приеду часам к двенадцати, и ты мне приготовь тех, кто идет на операцию, - вместе посмотрим. Да, я тебе не сказал, Кравцова твоя умерла. Тебя не дождалась. Ну, молодец, что ты приехала.

Анне было неприятно, что ее назначают заведующей, когда в отделении есть доктор старше ее. И Кравцова не должна была умирать. Анна почувствовала стыд и облегчение оттого, что не при ней умер человек, которому она ничем не могла помочь. Она надеялась, что Кравцова еще потянет. Хотя бы еще полгода.

Доктор Григорьева, которая, по мнению Анны, должна была оставаться в отделении старшей, была взбалмошной, обидчивой осетинкой. С очень хорошими руками, но немного сварливой и старомодной. Анна оглянулась на нее, но та углубилась в историю болезни и сделала вид, что Анну не замечает. Нужно было не забыть первым делом перед ней извиниться и сказать, что она своим назначением недовольна и считает его нечестным. И что-нибудь ей подарить. Осетинка была из породы счастливых людей, которые никогда не взрослеют. И любила получать подарки. Она была сильным оператором, но была какая-то грань, где у нее не хватало

знаний или чутья, и она могла хулигански рискнуть, ей было не удержаться. Анна не отводила взгляд и дождалась, пока Григорьева поднимет лицо от историй и обиженно улыбнется в ответ. Теперь можно было себе признаться: ужасно приятно, что Данила ей доверяет. Даже на три недели.

Анна не слушала доклады дежурных врачей и реплики заведующих отделениями. Потом анестезиологи стали переругиваться с хирургами, а начмед и главный врач терпеливо слушали. Главный врач строил рожи, а начмедихе, которая вела конференцию, в один прекрасный миг перепалка надоела, и она всех язвительно оборвала. В самом конце главный врач встал и поздравил Анну с возвращением из отпуска. Он был вполне терпимым человеком, но не очень на месте. Главный врач объявил, что Волкова остается на три недели вместо Фокеева, и добавил еще туманно, что пора молодым врачам пробовать свои силы, чтобы, если Фокеев уйдет на другое место, ему осталась подходящая замена.

- На ваше место что ли уйдет? - спросила недовольно начмедиха.

Главный врач посмотрел на нее пристально, наморщил нос и объяснил, что он говорит "вообще".

- Лучше бы вы говорили в частности, - сказала начмедиха и еще что-то про себя пробормотала.

На этом утренняя конференция окончилась. Анна и Данила Владимирович остались в пустом зале, и он рассказал ей вкратце, что нужно будет три недели делать. Сашка Лукин, проходя мимо нее, церемонно отстранился, чтобы случайно не задеть новую заведующую гинекологическим отделением. Он будет ее дразнить все эти три недели, но он был свой, и она его не боялась.

- Давай, переодевайся и иди смотри, что там происходит. Мою четвертую палату возьмишь, но там все после операций. Выпишешь их и все.

Но она бы ничего и не стала делать без Данилы - в онкологических больницах сложные отношения между врачами: больной закрепляется за одним врачом и остается на его руках годами. Касаться чужих больных и резко менять им план лечения не принято и нельзя. Когда Анна выходила из конференцзала, она почувствовала, что в ее походке и манере отвечать на приветствия больных что-то незаметно изменилось, и посмеялась над этим. Но у них было особенное отделение: те операции, которые в других гинекологиях города готовили по месяцу, и это было там событием, они делали по две-три подряд, не размываясь. "Мой миленький может быть доволен, - подумала она, - он когда-то хотел, чтобы я стала хорошим врачом". Потом Анна вспомнила, чем кончился вчерашний вечер, и отогнала от себя все ненужные мысли.

Была еще одна вещь, которую она слышала на лестнице и от Сашки Лукина и которая ее сильно смущала: что увольняют Соколовского. Анна не понимала, как в связи с этим она должна себя вести. Она решила сделать обход и спуститься в патанатомию.

Спирина перевели в поликлинику, но из-за него выпроваживали на пенсию основного больничного патолога, тучного пожилого человека с деформированным бедром. Больница была построена по принципу муравейника: на поверхности были крикливые врачи с толстыми русалочьими задницами и мастера рассказывать анекдоты, а в глубине двора находился маленький покосившийся домик, в котором сидел отекший старик - он смотрел в микроскоп и объяснял каждому, кто чего отрезал. Он был доктором наук и одной из последних городских звезд. Работать без него будет очень трудно. Главный врач, пустослов и трепач, часто разглагольствовал на конференции: "Убрать сиську может каждый дурак, вы попробуйте ее не убрать!" Без полной

уверенности в диагнозе патолога ответственность на себя брать никто не будет и будут отрезать много лишнего. Почему-то им нужно было от Соколовского отделаться. Может быть, кому-то обещано его место. Повод для увольнения был самой наглой липой - Соколовский получил выговор за утаивание от администрации случая халатности. Когда умерла больная Спирина с вафельным полотенцем в животе, Соколовский написал после вскрытия, что "смерть наступила от основного заболевания; обнаруженное в брюшной полости инородное тело существенно на течение процесса не повлияло". Анна сама видела эту запись.

Из ординаторской Анна позвонила на пост и попросила сестру принести все истории болезни. Отделение было забито до отказа. Шесть кроватей стояли в столовой. "Две из них - мои, - подумала Анна, - а раз Даня уходит в отпуск, значит, три больных в столовой - мои. И Данина четвертая палата". Тридцать одна больная. Еще утром поступила тяжелая старуха в коридор, и, кажется, она была первичной. Было непонятно, кому из врачей эта старуха достанется. Тут Анна вспомнила, что теперь больных распределяет она и тяжелую старуху придется брать себе. Краше кладут в гроб. Ее нашли где-то в коммунальной квартире. Анна решила перевести больную в изолятор, но там все были не лучше, и она пока оставила ее в коридоре. Сказала только сестре, чтобы сбоку к кровати приделали широкую доску. Старуха металась и могла упасть на пол. Марию Харитоновну Анна встретила в коридоре, поцеловала ее, и они вместе решили, что плюнут на все Данины интриги, каждая будет работать сама по себе, а сложных больных будут смотреть вместе. Мария Харитоновна успокоилась и на Анну сердиться перестала. Обычно получалось, что дружеские отношения с заведующим отделением сохранять не удавалось - появлялась дистанция, которая все время росла. Даже эти три недели дистанция будет

сохраняться, но если самых запущенных больных класть себе, то отчуждение может и не возникнуть.

Анна обошла свои палаты, но больных не осматривала, только представилась новым и рассказала, как она отдохнула. До прихода терапевта нужно было успеть забежать к Соколовскому и с ним попрощаться.

Больные, свободные от процедур, прогуливались по голому больничному дворику в страшных ботах. Анна хотела привезти сюда из леса маленькую сосну и посадить, но одной ей с этим было не справиться, и все время не доходили руки. Двор был очень унылым.

А патологоанатом не был унылым, но он был очень занят - он делал для хирургов срочную вырезку.

- Гости, гости, у нас гости, - пропел он, - у меня для хирургов срочная "мамма", но уже через пять минут я буду иметь удовольствие вас встретить. Или постойте рядом, милочка, и мы сможем начать разговаривать.

- Завель Асирович, я не могу подойти ближе - у меня потекут глаза.

- Э, милочка, простите мою невнимательность. Я, знаете ли, тут отвыкаю от того, что на свете живут очаровательные женщины, которые не переносят формалин. Я был убежден, что хирурги не красятся, - я ужасно с вами бесцеремонный.

- Хирурги красятся в первый день после отпуска.

- Вам удалось отстроиться от наших забот?

- Меня уже вернули на землю.

Анна прошла в кабинет патолога, отогнула занавеску и выяснила, какой Соколовскому представляется из окна вся их огромная больница. Она представлялась птицефабрикой. На громоздком письменном столе лежала стопка заложенных книжек, большой немецкий микроскоп и фанерный подносик с двумя рядами стекол. Анна взяла книгу на английском языке, и оказалось, что это был Шекспир. Хорошая работа, на

которой можно читать Шекспира.

Дверь распахнулась настежь, и патанатом неуклюже, на двух палочках, проковылял по комнате и плюхнулся в свое кресло. Рука у него была маслянистая от формалина, и, пока он названивал в операционную хирургам и объяснял, что в препарате есть рак, Анна под столом тихонько вытерла ладонь халатом. К черту, еще колготки формалином пропахнут. Она не боялась мертвых, даже вынимала багровых повешенных из петель и возила вспухших утопленников, но занятия эти по природе своей были ей неприятны.

- Вы замечали, что Пастернак переводит "могильщики", когда у Шекспира ясно сказано "шуты"?

Соколовский совсем не расстраивался, и Анна только сидела, молчала и покачивала головой.

- Вы только за меня, милочка, не переживайте, вот уж кто от этой истории выиграл, так это я. У меня масса планов: во-первых, я смогу в будний день посидеть в Публичной библиотеке - это роскошь, которую я уже лет десять не могу себе позволить...

- А кто приходит вместо вас?

- Я думаю, что будет Сонечка Ярицина, из Института онкологии.

Анна потерла лоб рукой, чтобы ничего не ответить, но Соколовский сказал, что "и совершенно напрасно", что "новый патолог довольно квалифицированный, во всяком случае, с гинекологами у нее никаких проблем не будет".

- Хамка, - сказала Анна и покраснела, - сколько я с ней ни сталкивалась...

- Ой, милочка, не судите, - перебил ее Соколовский, - и вы ведь, между прочим, тоже человек очень колючий. Если бы я случайно не знал еще вашего батюшку, то мне в жизни не пришлось бы в голову с вами заговорить.

"В городе пять миллионов, - подумала про себя Анна, - но

обязательно кто-нибудь найдется, кто все про тебя знает".

- Завель Асирович, я сегодня успела прочесть одно ваше заключение, вы пишете, что в препарате только участки аденоматоза - карциномы нет...

- Постойте, постойте, я, кажется, знаю, о ком идет речь. Можете себе представить, что эти стеклышки у меня до сих пор на столе. Но я не знал, что это ваша больная, - на ловца и зверь бежит.

- Я ее оперировала до отпуска, а вашего заключения не дождалась. Вы мне объясните, что же тогда было в биопсии?

- Вот теперь и я об этом подумываю. Сегодня я на эти стекла смотреть уже не могу - глаза привыкли, но вы дайте мне еще два дня. Хотите, я вам одно место в препарате покажу?

- Вы хоть представляете себе все невежество обычного гинеколога?

- Я представляю, милочка, но это чрезвычайно занятное место!

Соколовский навел микроскоп, и Анна с любопытством туда посмотрела. Она ничего уже не помнила по гистологии, но ей интересно было посмотреть в микроскоп и увидеть там розовые клетки с темными ядрами.

- ...и ошибка эта происходит из-за неправильного понимания сущности ракового процесса. Раковая клетка - это не больная клетка! Это самая здоровая клетка, деревенщина с дубиной, на фоне чахлых городских барышень. Она вспомнила свою древнюю примитивную программу, и ей нет отпора... Но куда же вы бежите?

- Не сердитесь на меня - наверху меня ждет терапевт. Терапевт, действительно, рвал и метал.

- В таком виде Терентьеву брать нельзя!

- Ее нужно брать в любом виде. Острого сейчас ничего нет. Здоровой вы ее все равно не сделаете, а меня месяц не было - до нее никто пальцем не дотронулся. Матка уже занимает весь

живот. Это не яичники, это похоже на саркому!

- А что Фокеев говорит?

- Фокеев говорит, что он еще и за прошлый год в отпуске не был.

- Может, она беременная?

Анна только дух перевела. Было такое время, что люди полюбили шутить, и иногда получалось действительно смешно.

Терентьевой было семьдесят два года. И больница, в которой они работали, была единственным в Ленинграде местом, куда разрешали госпитализировать таких старых женщин. Гришка Липовецкий рассказывал, что в их больнице дальше приемного покоя ни одна пенсионерка давно уже не добиралась: летом поступила одна старушенция с кишечной непроходимостью, и чуть ей стало легче, дежурный хирург начал спроваживать ее домой: "Ну что, - говорит, - бабка, просралась?" А та отвечает: "Да, просралась". "А кем ты, - говорит, - бабка, работала?" "А я, - говорит, - и сейчас работаю, я профессор в университете, на кафедре прикладной математики".

"Так хирург, - рассказывал Гришка, - наглая морда, даже не смутился".

- Переводите ее на простой инсулин, - сказала Анна терапевту, - и в понедельник я ее возьму на операцию.

- Вы ее на столе оставите, - сказал терапевт ей вслед. Анна обернулась, поморщилась и пошла смотреть больных в перевязочную.

- Ира Маркова, - сказала она постовой сестре, - вот тебе список, приглашай моих больных.

Сестра взяла список и шепнула ей почти на ухо:

- Анна Васильевна, а вы не можете меня сначала посмотреть?

- Можно не сегодня?

- Ну, пожалуйста!
- Почему ты не предохраняешься?
- Он не хочет.
- Не хочет, так рожай.

В этот момент Анна со стороны услышала свой голос, и ей стало страшно. Анна вернулась из отпуска.

Глава тридцатая ОТ АНДРЕЯ

Теперь я мог ее как следует рассмотреть...

Конец первой книги

